



ЛЕОНГАРД
КОВАЛЁВ

ТРАВА РАССКАЗЫ
ЗАБВЕНИЯ

Леонгард Ковалёв
Трава забвения. Рассказы

«Алисторус»

2017

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)7

Ковалёв Л. С.

Трава забвения. Рассказы / Л. С. Ковалёв — «Алисторус», 2017

ISBN 978-5-906979-77-3

В сборник вошли как новые, так и переработанные рассказы ранее изданной книги «Хроники минувших дней». Основная тема произведений Л. Ковалёва – отношения между людьми в различных, даже самых сложных и противоречивых, обстоятельствах. Рассказами передаётся движение времени, в потоке которого проходит, претерпевая разного рода испытания, человеческая жизнь. События охватывают период до начала войны, военное и послевоенное время; описываются места, где происходили те или иные действия, и где природа выступает, как единый образ Земли. Автор сочетает верность традициям русской классической литературы с обращением к сюжетам нового времени. При этом способ реалистического изображения картин и образов в некоторых случаях сочетается с тем, который называют фантастикой.

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)7

ISBN 978-5-906979-77-3

© Ковалёв Л. С., 2017
© Алисторус, 2017

Содержание

Первая память	5
Лёдя	10
Первое горе	12
Последний помещик	14
Голос издалика	35
Остановка в пути	38
Хроника минувших дней	42
В солнечной тишине	72
Страница памяти	81
Конец ознакомительного фрагмента.	84

Леонгард Сергеевич Ковалёв

Трава забвения. Рассказы

Сыну Андрею – с благодарностью за бесценную помощь

Первая память

Галка была мой первый друг. Мы жили в слободе и целые дни проводили вместе – на улице, на лугу.

Слобода была застроена по одной стороне. Через дорогу, вдоль которой стояли частные домики, с невысокого и пологого спуска начинался луг. Посреди цветистых трав его протекала речушка шириной в пять шагов, по другую сторону которой в некотором отдалении на крутой горе сгрудились крытые соломой белые хатки.

На спуске от слободы в долину росли кусты краснотала. Осенью, когда облетали листья и наступали холода, становилась особенно заметной красота гибких ветвей, глянцево-блестящих, цветом от красно-бурого до тёмно-зелёного. Зимой с этого спуска мы катались на санках, а кто постарше – на лыжах.

В марте, при оттепели, мать ходила со мной на вал, откуда горожане наблюдали кулачные бои, проходившие на заснеженном лугу.

Деревня шла против города и побеждала, так как собирала больше бойцов. После сражения на снегу оставались лежать тела поверженных ратоборцев, силившихся подняться, а иногда не подававших признаков жизни.

В городе не было машин, и только изредка можно было встретить коляску извозчика. По слободе проезжал лишь водовоз. Солнечным утром с улицы доносился его зазывный клик: «Кому воды! Кому воды!». И когда он вынимал из бочки деревянную пробку, в подставленное ведро ударяла, сверкая и брызгая, хрустальная струя.

Тишину безмятежных дней беспокоила Пискуниха. Возвращаясь на своих костылях после очередных свадьбы или поминок, которые никогда не пропускала, затягивала она излюбленное, неизменное: «Сирота я, сирота», послушать которое, конечно, стоило.

Остановившись посреди улицы, придерживая подмышками костыли, она поправляла на голове платок, обтирала сморщенной костлявой ладонью рот, после чего звучали дерганые всхлипы, потом судорожные «тю-тю-тю» при попытке набрать побольше воздуха, и уж затем резкое, визгливое, на всю округу: «...никто замуж не берёт девушку за это...» «Девушке» было за шестьдесят...

Родители мои дружили с доктором Шуко, с Людмилой Ивановной, его женой. Мать и я посещали этот дом, и всегда это было особенное событие – желанное, как праздник и как дорогой подарок.

В образе Людмилы Ивановны, милой женщины с певучим ласковым голосом, я узнал ту женственность, перед которой невозможны грубость и пошлость. Людмила Ивановна угощала меня пирожными и конфетами и однажды подарила «Русские народные сказки» – большую и толстую книгу с великолепными картинками.

Сам дом этот, вся его обстановка, праздничная, волшебная, невозможная в обыкновенной жизни, навсегда поразили детское моё воображение. И пока мать и Людмила Ивановна обсуждали свои дела, я погружался в переживание о чудесном облике этого дома, о тайнах, которые, конечно, скрывались где-то здесь.

Картины в дорогих рамках; часы музейного вида, будто из золота, отзванивавшие время мелодическим колокольчиком; кабинетный стол с оскаленными львиными мордами на панели

выдвижных ящичков; настольная лампа, бюст какого-нибудь римлянина или грека, письменный прибор, иллюстрированный перекидной календарь; в шкафу множество книг; кожаные диван и кресла; драпировки, обои – всё обладало очарованием достатка, довольства, вкуса, долгих прожитых здесь лет уюта и тишины. И тех самых тайн, жгучее присутствие которых ощущалось за каждым раритетом.

В простенках висели фотографии тоже каких-то особенных мужчин и женщин, непохожих на тех, которых приходилось видеть на улице. Были ещё: на отдельной подставке граммофон с блестящим раструбом, пианино и подобные деревьям комнатные растения. И среди этих чудес опять-таки какой-то необычной породы, пушистый, чёрный, с белыми грудкой и лапками кот – важный, внушительный, сытый, с зелёными глазами, презрительно-равнодушный к гостям, конечно же, причастный, может быть, даже хранивший те тайны.

За окнами под набегавшим ветром гнулись и волновались деревья, а в комнату, в задумчивую её тишину, из сада скользили бесшумные отсветы, соединяясь в гармонии с ласковой улыбкой красивой женщины, чьи нежность и доброта жили и сохранялись здесь подобно бесценным сокровищам мира.

«Русские народные сказки» была первая моя настоящая книжка, по которой я потом выучился читать. Перечитав и пересмотрев её картинки множество раз, я знал всю её едва ли не наизусть. Догадывалась ли Людмила Ивановна, какое это было счастье? Догадывалась ли, что я был влюблён в неё, такую красивую, ласковую, тонко благоухавшую своей парфюмерией, заглядывавшую ясными как небо глазами, гладившую мне волосы рукой, лёгкой, словно ангельское крыло? Она сама была частью и лучшим украшением этого дома. Его обстановка, как я понял потом, была далеко не новой, не такой уж роскошной – позолота была стёршейся, потускневшей, мебель – состарившейся. Но может быть, одна из причин очарования в том и состояла, что она была старой, обжитой, хранившей следы прошедших времён, и, возможно, тогда во мне зародилось желание, чтобы подобная красота была и в моей жизни. И те представления о женщине и женской красоте, которые составились во мне, они образовались не без влияния Людмилы Ивановны – прекрасной женщины с трагической судьбой.

Замечательная эта красота продолжалась и во дворе, и в саду. Они представляли собой маленький рай с беседкой, увитой диким виноградом, с дорожками, посыпанными ярко-жёлтым песком, вдоль которых от цветка к цветку перепархивал ветерок. Конечно, не помню, да и просто не знаю, что это были за цветы – алые, тёмно-бордовые, лазоревые, золотистые. Все вместе они производили такое впечатление, что от них невозможно было отвести глаз, хотелось снова и снова возвращаться к ним, смотреть и смотреть на них без конца. Под солнцем, под сияющим небом они околдовывали, как дивная музыка, вызвали изумление, восторг, чувство, оставшееся в душе, как воспоминание об обетованной земле. Детей у Людмилы Ивановны не было, может быть, ещё и поэтому она была так добра ко мне.

Доктора я видел чаще всего только мельком – в амбулатории, когда бывал там с матерью, иногда дома, в саду, где он увлечённо работал, – лопатой, пилой, граблями, – засучив рукава выше локтя, в жилетке и фартуке, в перчатках. Широкоплечий, плотный, с проседью, с аккуратно подстриженными усами и бородкой, добрый, несмотря на строгий голос. Он брал меня за подбородок, заглядывал в глаза, оттягивал веки, внимательно осматривал, трепал легонько по щеке, уверенно говорил матери: «Нормальный ребёнок».

Арестовали доктора, видимо, в тридцать седьмом году. Непрактичная, неприспособленная жить в жестоком мире Людмила Ивановна вскоре после этого умерла. Но это было уже потом...

Мой отец был путейским инженером. Рано утром он выезжал на линию, возвращался поздно, часто не ночевал дома.

Утром мать кормила меня, убиралась на кухне и в комнате, после чего надолго уходила в город, на рынок.

Оставаясь взаперти в пустой квартире, я брал свои любимые «Русские народные сказки», забирался с ними в кухне на стол, усаживался на нём с ногами, потому что боялся крыс, которых вообще-то не было, и принимался за чтение. Солнце в это время заливало кухню горячими лучами.

Чтением это можно было назвать только условно. Просто все сказки я знал уже почти наизусть, но всякий раз, водя пальцем по каждой строке, проговаривал громко весь текст и без конца рассматривал картинки, подолгу вникая в них, представляя в своём воображении сказочный мир, который они открывали мне.

Но ведь и самая интересная сказка не может заменить собой многообразия жизни, всего, чем она заманивает к себе. Тишина, одиночество навевали тоску. Большая синяя муха ползала по окну, жужжала, билась в него. В окно гляделись пустой двор, скучный сарай. Ничто там не оживляло души.

Можно было перейти в комнату и оттуда смотреть на улицу, где играли дети, на долину и на деревню. Но в комнате было сумрачно, скучно, не было солнца, а, главное, не было стола, на котором можно было спастись от крыс. Стол стоял посреди комнаты, далеко от окна.

Но вот из-за двери, перекрывавшей проход на другую половину дома, слышался голос. Это хозяйские сыновья, Мишка и Колька, большие мальчишки и отчаянные озорники. Отца у них не было, а мать не могла с ними сладить. Часто они доводили её до того, что она гонялась за ними вокруг дома ни много, ни мало с топором в руках. Нервная, замученная женщина, бегая за своими неуправляемыми чадами с ругательствами, с растрёпанными волосами, с этим топором, была похожа на Бабу-Ягу. Для сынков же всё это было очередным развлечением.

Дверь, отделявшая нашу половину от хозяйской, была закрыта на ключ, однако имелось отверстие, через которое братишки подзывали меня к себе.

– Сахару хочешь? – спрашивали они.

Да, сахару я хотел.

– На, – просовывали они через дыру кусочек, предварительно пописав на него.

У меня всё же хватало ума отказаться от такого угощения, после чего братья теряли ко мне интерес и быстро исчезали. Я опять забирался на стол, и чтение продолжалось.

Наконец перед моим окном появлялась Галка, которую я уже давно и с нетерпением ждал. У неё пухлые, румяные щёки, чёрные глаза, чёрные волосы, чёлка. В руке большой ломоть белого хлеба, намазанный мёдом. Она с аппетитом, старательно откусывает от него, набивая полный рот, так что ей тяжело дышать и трудно говорить. Она зовёт меня гулять, но как я могу выйти, если дверь заперта? Чтобы выволить меня из заточения, она находит тут же большой ржавый гвоздь, положив свой хлеб на крыльцо, долго и упорно ковыряется им в замочной скважине. За этим занятием её застаёт мать, вернувшаяся с базара. Галка просит её отпустить меня гулять.

У братьев-разбойников был трюк получше того, который они пытались проделать с сахаром. Когда мы с Галкой выходим на улицу, они делают мне новое предложение:

– Закрой глаза, открой рот. Я выполняю такую просьбу. Почему не уважить, если просят о таком пустяке? И тотчас во рту у меня оказывается яблоко конского навоза. От смеха братишки хватаются за животики, но, увидев, что у меня выступили слёзы, успокаивают примирительно, дружелюбно:

– Ладно, не реви, – и дают печенье.

Доедая свой хлеб, пыхтя от этого трудного дела, Галка выказывает мне немногословное, но искреннее сочувствие.

С базара мать приносила что-нибудь интересное: огромную шляпу подсолнуха с крупными семечками, длинную конфету, раскрашенную в синий, красный, жёлтый цвета; пропеллер на палочке, который на ветру вертится и жужжит. Часто покупала какую-нибудь книжечку: «Три поросёнка» или про кота и грачей. Кот, разумеется, был разбойник, потому что хотел

разграбить грачиное гнездо и съесть птенцов, но моё сочувствие было на его стороне. Мне жалко было котика, которого клевала целая стая чёрных грачей, и он падал с дерева на землю.

Однажды мать купила мне детские лопатку и ведёрко. Кроме деревянной ручки лопатки, они были красиво покрашены в чёрный цвет. Ведёрко украшали ещё и нарисованные на нём цветочки. Новенькие лопатка и ведёрко имели привлекательный вид. Я вышел на улицу со своими игрушками, обдумывая, как их употребить. В это время большой мальчик вёл по улице девочку лет четырёх. Мальчик держал девочку за руку, а она вырывалась, кричала, плакала, была вся в слезах. Мальчик не мог сладить с ней. Она упиралась, не хотела идти. Вдруг она увидела мои ведёрко и лопатку. Истерика на минуту прекратилась, но тут же возобновилась, с ещё большим криком, – девочка требовала себе ведёрко и лопатку. Никакие увещевания не действовали. Она отказывалась идти. Тогда мальчик попросил мои ведёрко и лопатку, и я отдал их. Девочка тут же успокоилась, они ушли, а мать поругала меня за то, что я такой глупый.

Время это было интересное. Замечательно прекрасна была природа. С первой зеленью начинали летать во множестве майские жуки. Были у меня ещё огромный жук-олень и жук-носорог. Тополя усыпали дорогу серёжками, похожими на красивых мохнатых гусениц. Только что раскрывшиеся их листочки были клейкими, имели ярко-зелёный цвет и острый запах, щекочущий ноздри.

На Пасху на лугу дети играли крашеными яйцами.

Женщина, которая каждое утро приносила нам из деревни свежее молоко, позвала меня к себе. Мы прошли через луг, прошли по мостику через речку, извилистой тропинкой поднялись на гору. В деревне, на улице и возле дома, всё было устлано золотистой соломой, бродили куры и очень строгий ярко-пёстрый петух. Добрая женщина угостила меня куличом, дала два красивых яичка. Было солнечно, тепло, особенно красиво золотилась разбросанная по земле солома. Но когда меня повели домой, на горе я споткнулся, упал, яички, которыми хотелось ещё поиграть, разбились, конечно, от этого были слёзы.

Было много интересного и всякого. Однажды я наелся белены. Я уже терял сознание, пускал пену, но меня как-то откачали. Мать спасла меня, как спасала она не один раз и потом. Мы ходили с нею в кино. В кинотеатре приятно возбуждало оживлённое скопление народа. Там я узнал Чарли Чаплина и там же в кинохронике видел, как нескончаемая вереница людей – старики, дети, с велосипедами и тележками, с каким-то своим скарбом, торопясь, порой бегом, покидали Мадрид, который бомбили фашистские самолёты. Позже, уже во время другой войны, подобные картины пришлось увидеть и здесь, в России.

Галка была настоящим другом. Мы рвали цветы, гонялись за бабочками, собирали на берегу камешки, кидали их в воду, наблюдая, как они булькают и от них расходятся круги. Мы показывали друг другу то, что есть у мальчиков и чего нет у девочек, и что есть у девочек, а нет у мальчиков – потому что интересно. А когда требовалось сделать необходимое отправление, мы делали это – обязательно вместе, рядом. По берегам росли ивовые кусты. На некоторых листочках были такие, как мы их звали, бубочки, подобные ягодкам с румяным бочком. Взрослые говорили, что их нельзя есть, потому что там живёт червяк, но мы всё равно ели – потому что вкусно...

Давно нет Людмилы Ивановны, доктора. Многих не стало. Миновали за годами годы. Но помню детское счастье, с которым я приходил к этому дому. Я постоянно думал о том, когда мы снова придём сюда, и чувство нетерпеливого ожидания, с которым я жил и которое может быть сравнимо только с ожиданием любовной встречи, – подобного ему я больше никогда не пережил. На всём пространстве своего прошлого я не нахожу другой такой Людмилы Ивановны, ласковой, доброй, красивой, такого чудесного дома, его обстановки, уюта. И ту колдовскую зачарованность цветочным раем – под небом и солнцем, тоже совсем другими – её я потом уже нигде не нашёл...

Вот мы подходим к нему. Уже издали среди волнующихся тополей видна зелёная крыша. Душу затопляет чувство... Нет слов, которые раскрыли бы то состояние. Оно осталось там... В жизни было совсем немного мест, куда хотелось приходить снова и снова...

А Галка? Нам было хорошо вместе, вдвоём... Где теперь она – подруга тех дней? Что с нею случилось? Жива ли? И что было бы, если бы мы встретились сейчас, когда прошло столько лет?..

Лёдя

Лёдя был странный мальчик: делая что-нибудь руками в наших играх, казалось, он в это время думал о чём-то другом. Нам было шесть лет, долгие дни мы проводили вместе.

Улица, где жил Лёдя, заканчивалась через два дома. Там, в неглубоком овражке, из родника вытекал ручеёк, и там мы уединялись, придумывая себе какие-то занятия.

По склону оврага росли берёзы, ивы. Дно его устилали мягкие травы, было много цветов, порхали бабочки, летали пчёлы.

Опуская в ручей щепочку, Лёдя долго следил потом, как она уплывает всё дальше и дальше, приставая то к одному берегу, то к другому, удаляясь, наконец, настолько, что её становилось не видно. Он подолгу наблюдал ползавших, скакавших в траве насекомых, долгим взглядом провожал проходившие над нами облака. Он был моим кумиром, я подражал ему, делая всё то, что хотелось делать ему. Желания его были очень просты, он никогда ни на чём не настаивал, ничего не требовал.

Пани Ковалик зарабатывала на жизнь шитьём. Она снимала комнату с кухонькой. У них был ещё и больший мальчик, Броня, пропадавший на улице в играх с ребятами того же возраста. Наша мать иногда шила что-то у пани Ковалик. Откуда она пришла и куда потом подевалась? Это осталось неизвестно.

При нашем появлении у пани Ковалик происходил приступ гостеприимства. Вскликая от машинки, она бросалась освобождать стул, угол стола, заваленного кусками материи, портновскими принадлежностями. Бледная и худая, у которой и при оживлении не исчезала печать каждодневных забот, пережитых страданий, проявлявшая бестолковую суетливость, как люди, которых жизнь бьёт постоянно и жестоко, она притягивала непритворной добротой, хрупкостью слабой и чистой души, печальной красотой лица и глаз. Много лет спустя я понял, что отец Лёди был осуждён как враг народа.

Мне нравилось бывать в хаотическом беспорядке тесной комнатки, нравились игрушки Лёди, книжки и он сам – тихий, серьёзный мальчик с большими глазами на бледном лице. Мать оставляла меня поиграть с Лёдей. Пани Ковалик говорила что-то возбуждённо, торопливо, но всегда с грустью в голосе и во взгляде. К матери обращалась по фамилии, непременно присовокупляя слово «пани», мне гладила голову лёгкой и доброй рукой.

После ухода матери пани Ковалик тотчас углублялась в своё шитьё – до такой степени, что, кажется, от этого зависело не просто благополучие семьи, но и сама их жизнь. Уже не замечая ничего вокруг, строя на машинке или работая иглой, часто пела она одно и то же по-польски. Запомнившийся мотив позволил впоследствии узнать слова и думу, день и ночь, роившиеся в душе бедной женщины: «Помнишь ли ты, как счастье нам улыбалось?..»

Я любил этого мальчика, тонкую его красоту, голубые, никогда не улыбающиеся глаза. Он постоянно, но лишь обиняком, показывал, что ему хочется быть со мной, спрашивал, будто думая о чём-то другом, когда я приду ещё. В памяти наши нешумные игры у ручья остаются, как светлый, никогда не повторившийся сон.

Особенный оттенок в эту дружбу вносили принадлежавшие ему книжки, которые он охотно и щедро давал мне, сам никогда не требовал, чтобы я вернул их. Книжки эти были замечательны их содержанием, картинками, внешним видом и оформлением. В них было что-то общее с ним – «Маленький Мук», «Дюймовочка», «Гадкий утёнок»...

Он был одержим идеей, что каждому живому существу, каждой бабочке или божьей коровке может быть больно, потому обращаться с ними надо бережно и лучше не трогать руками. И он мог подолгу наблюдать их, не прикасаясь к ним...

Однажды он спросил, есть ли у меня папа, долго молчал после этого, будто думая о чём-то, потом сказал:

– Мой папа уехал, но он скоро вернётся.

Последний раз я видел Лёдю безнадежно больным. Ослабевший, беспомощный, он полу-сидел в постели, прислонившись спиной к подушке. Перед ним лежала книжка, в которую он не глядел. Из рубашечки выглядывало прозрачное тельце, пронзительно тонкие руки. Под кожей сквозили голубые жилки. Он был строг, молчалив.

– Хочешь, я дам тебе эту книгу? – сказал он вдруг про ту, которая лежала перед ним.

В комнате стоял запах лекарств. Отворачиваясь, пряча лицо, пани Ковалик плакала...

Он умер в разгар листопада...

В белом гробике, поставленном на двух табуретках, лежал странный мальчик – в чёрном костюмчике, в кипенно-белой рубашечке, с чёрной бабочкой, со сложенными на груди красивыми маленькими руками. Белое, без единой кровинки лицо было безмятежно спокойно. Красиво причёсанные волосы обрамляли гладкий выпуклый лоб. Он крепко спал. То, как он был одет, и белые кружева смертного ложа напоминали сказки, которые он давал мне читать.

В комнате были опущены шторы, завешены зеркала. В головах покойного горели свечи, между ними стояло небольшое бронзовое распятие. Цветы, их траурный запах усиливали чувство, что это всё и уже навсегда. Стоя у гроба в черной кружевной накидке, пани Ковалик срывалась в рыдание. непохожий на брата Броня, рыжеватый, коротко стриженный, с чем-то, однако, общим в светлых глазах, оцепенело молчал...

Стояла осень. Над берёзами и тополями цвело счастливое небо. Вечером оно пылало закатом. Ночью, в постели, думая о бедном моём товарище, я плакал...

Первое горе

Утром в кухне бабушка гремит посудой, у неё много дел. Другие взрослые на работе. Братишка возится со своими игрушками. Костя стоит у стола, глотая слёзы, перебирает теперь уже ненужные тетради, учебники, палочки для счёта, карандаши.

На улице октябрь. Небо обложили тёмные тучи, в окна стучится дождь. Ветер срывает с деревьев жёлтые листья, гонит их по дороге, швыряет в лужи, в грязь. Редкие прохожие, укрываясь под зонтом, спешат по своим делам.

Ещё недавно с таким волнением Костя готовился к этому великому дню – первого сентября. Разглядывал любовно купленные ему учебники, пенал, ручку, перья, как будто золотые – называются номер восемьдесят шесть. И какой это был день! Толпы нарядных детей, цветы, родители, учителя. И так много солнца!

Теперь на улице дождь, все дети в школе, и один только он дома...

Учительница пишет на доске прописи, цифры, учит читать по слогам. Люда внимательно слушает, старательно делает всё, что велит учительница. Она пишет чисто, аккуратно и очень красиво. Она хорошо читает. А главное – она сама очень красивая. У неё белое лицо, золотистые волосы заплетены в косички с бантами, платьице, туфельки. А ещё – у неё голубые глаза, нежный румянец и очень красивый рот. Когда она смеётся, становится видно, какие у неё ровные, белые-белые зубы. И у неё красивая фамилия – немецкая, потому что она немка. Но она русская немка и ничем не отличается от других учеников.

Да, он баловался, постоянно что-нибудь придумывал, а всё для того, чтобы понравилось ей. И когда она смеялась его дурачествам, ему это было очень приятно. Она весёлая хохотушка. Накальывая на перо своей ручки промокашку, он говорил: «Это король». И устраивал целое представление – наверное, интересное, потому что она безудержно хохотала. Всё было так замечательно! Но тут возникала учительница – сердитая старуха в очках. Что она могла понимать?! Зато ругала его, заставляла сидеть тихо, слушать урок. Но ведь Люда – он не мог не сделать что-нибудь интересное и весёлое для неё...

Наконец учительница велела ему прийти с матерью. Матери она сказала, что он ещё мал и лучше ему посидеть годик дома. И его исключили из школы. А он давно умеет читать, знает все цифры. Просто ему неинтересно, когда говорят про то, что он уже знает. А главное – она такая красивая, ему так хочется постоянно видеть её, делать такое, чтобы ей всегда было весело... А теперь он должен сидеть дома, один...

За окном становятся всё темнее, дождь усиливается. В комнате сумрачно, скучно... Слёзы... слёзы...

Он понимает, что уже не увидит её, – может быть, никогда. Взрослые думают, что это глупости, а это правда – больно и очень тяжело.

Бабушка приносит большую сладкую грушу:

– Покушай, – говорит она

Но Костя отодвигает грушу.

– Ты что же, и на меня сердишься? – спрашивает бабушка.

– Потому что все взрослые такие...

Он вспомнил, что дядя Коля прошлым вечером сказал: «Ну и что? Посидит дома – ничего страшного. Школа ещё надоест».

– Все?.. – спрашивает добрая бабушка, – Ладно, а вот грушу покушай, станет легче.

Костя всё равно отказывается. Слёзы льются сильнее – ещё и потому что он любит бабушку, ему не хочется говорить ей такие слова, но они произносятся сами, против воли.

К вечеру слёзы высыхают, но чувство остаётся.

Приходят с работы мать, отец, дедушка, дядя Коля. Костя скрывается от всех в тёмной спальне. Дядя Коля заходит к нему:

– Идём, будем печатать фотографии, – зовёт он Костю.

Костя любит дядю Колю, любит наблюдать, как дядя при свете красного фонаря печатает, проявляет, ретуширует снимки, но теперь отказывается и от этого.

Всё-таки он поужинал, и когда лёг спать, отвернулся к стенке...

Ночью не было ни дождя, ни ветра. Утро выдалось яркое, солнечное, было даже тепло. Костя позавтракал, бабушка помогла ему одеться, он вышел в сад. В саду деревья ещё не осыпались, но уже приготовились к зиме. Было тихо, пусто, печально. Тяжёлые думы не отпускали. Один... Как это тяжело – быть одному...

Если бы кто-нибудь внимательный и добрый в эту минуту мог незаметно подсмотреть, он увидел бы здесь настоящее горе. Сквозь слёзы, шурясь на солнце, Костя глядел в небо. Болела душа, горестно страдала она о непоправимом. А жизнь только начиналась...

Последний помещик

Жактовский дом, одну половину которого занимали дедушка, бабушка, дядя Коля и наша семья, был старый, удобный, строенный на старинный лад, с затейливым посередине фасада парадным крыльцом, которым, однако, не пользовались. Дом был обшит тёсом и выкрашен в жёлтый цвет. Вторую половину его занимали другие жильцы, у которых были свои двор и всё остальное, отдельное от нас. До революции дом принадлежал тем, от кого не осталось ни следа, ни названия. Кто были они? Куда подевались в те страшные годы? Бог весть. Конечно, были это достаточные люди, имевшие в губернском городе, в удобном месте, такую усадьбу – вместительный дом, сад, огород, широкий двор. Был ещё большой рубленый сарай, построенный буквой «Г», короткую часть которого занимали бабушкины подопечные: корова, поросёнок, куры. На длинной половине сарая, большой и просторной, с широкими воротами, постоянно раскрытыми настежь, прежние владельцы, должно быть, держали лошадь, выезд, всё необходимое для этого. Теперь в этой части хранились дрова, уголь, какие-нибудь старые вещи. Двор между домом, сараем и садом густо зарастал темно зеленеющим спорышом. Перед сараем, по длинной его стороне, справа и слева от ворот росли два больших куста чёрной смородины, а в конце его, где начинался огород, – деревце вишни. Короткой стороной сарай был обращён к саду, длинной – к входной аллее парка, примыкавшего к усадьбе. Участки от сарая к улице и от дома к саду были заняты огородом.

У дома, по его фасаду, был разведён цветник, где особенно выделялись самых разных сортов и вида георгины, росшие сплошной стеной сразу под окнами. Росли здесь также ирисы, пионы, гладиолусы, цветы табака, садовая спаржа, настурции, лилии, петунии, ноготки, астры. От цветника двор несколько понижался и до самого забора густо зарастал простой травой. С улицы его ограждал невысокий штакетник. Здесь были калитка и ворота.

За садом ухаживал дедушка. На попечении бабушки были огород и цветы. Двор и сад вместе с сараем и домом представляли маленькое поместье, островок уединения, отделённый от жизни, протекавшей за его пределами. Дом, как и вся усадьба, молчаливо и кротко хранил в себе приметы и память прошлого – неизвестной, но, наверное, доброй старинной жизни.

Квартира, предоставленная дедушке, тогда ещё машинисту, состояла из двух больших комнат, изолированных, однако, имевших между собой сообщение, большой кухни с плитой и русской печью и тёмной спальни, устроенной в широком коридоре, выход из которого на парадное крыльцо был наглухо заколочен. Вход в квартиру был со двора – через крыльцо, сени и кухню.

Большой и просторный сад, состоявший из яблонь и груш, примыкал к парку, при котором имелось футбольное поле, окружённое треком. Сад был слишком велик, и так как начальство, выделившее дедушке квартиру, считало такой довесок к ней чрезмерной роскошью в социалистическом государстве, имелось постоянное стремление отобрать его, но что тогда делать с ним, не было ясно, потому он оставался на дедушкином попечении. Он был старый, в момент, когда дедушка получил квартиру, находился в запущенном состоянии, почти не плодоносил. И дедушка, умевший делать всё, привёл его в такой порядок, что он ожил, стал цвести, давать обильные урожаи.

Дедушка имел небольшое брюшко, лысину, носил тёмную или белую косоворотку, подпоясанную по-солдатски широким ремнём с простой пряжкой, был крепкий старик. В Гражданской войне с оружием в руках дедушка не участвовал ни на чьей стороне, однако как машиниста его мобилизовывали, то есть приходили вооружённые люди и уводили с собой. Кто были они – белые? красные? какие-то ещё? Он по полгода пропадал где-то, и семья не чаяла, что вернётся домой. Последнее время он уже не был машинистом, но продолжал работать на железной дороге. Испытывая сочинительскую страсть, по вечерам он что-то писал за большим письмен-

ным столом. Сохранилась фотография, где он, освещённый настольной лампой, в тёмной комнате, сосредоточен над своим писанием. Он обратился с письмом к Горькому. В своём ответе великий писатель советовал дедушке повышать образовательный уровень.

Один рассказ дедушки всё-таки был напечатан – видимо, в каком-то журнале. В рассказе он вывел «коренастого, кареглазого» машиниста. Во время Гражданской войны, зимой, когда поезд остановился на перегоне из-за отсутствия топлива для паровоза, чтобы не замёрзнуть, машинист забрался в тёплую топку и там уснул. Помощник машиниста, не зная о том, закрыл топку на щеколду, замуравав, таким образом, своего товарища.

За гонораром дедушка ездил в Минск, домой вернулся в крепком подпитии, чего вообще с ним не бывало, – спиртного он не употреблял. В этом случае, думаю, дедушка привёз немного от заработанного творческим трудом. А писательская бацилла, которая беспокоит меня всю жизнь, попала ко мне, конечно, от него.

Был дедушка круглым сиротой. Всего, что он имел и чему научился, он добился собственными трудом и упорством, которые были чертой его характера. Он был деятельный, интересующийся, энергичный, кроме того, обладал недюжинной силой, был решительный и не робкого десятка.

Во время Гражданской войны местность, где они тогда жили, занимали белогвардейские части. И так как дедушка с семьёй имел, видимо, достаточную квартиру, на постой к ним были определены офицеры. Однажды они играли в карты, и один из них проигрался в пух. Тогда, чтобы продолжить игру и сделать очередную ставку, проигравший ничтоже сумняшеся достал из гардероба дедушкин выходной и, может быть, единственный, костюм. Недолго думая, дедушка взял офицера за грудки и как следует потрянул. Произошёл переполох. Дедушку объявили «красной сволочью», тут же скрутили, выволокли во двор, поставили к стенке. Жить ему оставалась одна минута. Тогда, собрав пятерых своих детей, бабушка бросилась в ноги начальнику, и дедушка был помилован.

Возраст дедушки, однако, давал о себе знать: после обеда, взявши в руки газету, он тут же над ней засыпал. Он участвовал в клубной самодеятельности и однажды провёл Эмму и меня на постановку украинского спектакля «Наталка-Полтавка», где он исполнял роль свата. Загримированный, в рыжем парике, изображавший состояние своего героя во хмелю, он был совершенно неузнаваем и здорово сыграл свою роль. На сцене был поставлен домик, куда для переговоров зашли сваты, их было двое, и так как они были в хорошем градусе, там поднялся настоящий гвалт. Домик трясло, как при землетрясении, и было просто чудо, что он не развалился. Спектакль был поставлен для красноармейцев, заполнивших зал в длинных шинелях и островерхих шлемах того времени. Других зрителей не было. Мы с Эммой, как почётные гости, сидели в первом ряду.

Бабушка имела свой круг интересов и занятий. На её попечении находились: корова Сондра, поросёнок Юзик, несколько кур с петухом, а также белый с желтинкой пёс Томик и кот Минька. Дела у бабушки не кончались никогда. Только вечером она позволяла себе отдохнуть, читая у остывающего самовара старый журнал с пожелтевшими страницами. В этом журнале, из которого она читала и мне, рассказывалось о поисках затонувших сокровищ и погибших искателях. Там была и страшная картинка: скелет в остатках одежды и крабы с огромными клешнями, которые, видимо, съели того, от кого остался лишь скелет. В огороде у бабушки рос всякий овощ. Росли там и тыквы, из которых она варила вкусную кашу. Главное же употребление тыквы было в корм корове и поросёнку. Тыквенные семечки бабушка поджаривала на противне. Вечерами, когда приходили тётя Варя и дядя Гена с Эммой, семечками лакомились за долгими разговорами на этих посиделках.

У бабушки было простое лицо, всегда спокойное и серьёзное. Была она помещицкого рода, скорее всего небогатого, так как не отличалась большой грамотностью и замуж вышла за пролетария, хотя дедушка был квалифицированным рабочим. О помещицком происхожде-

нии бабушки осталось лишь одно свидетельство матери, которая в возрасте семи или восьми лет, видимо, перед самой революцией, была в гостях у своих дедушки и бабушки и видела там висевший на стене «План земельных угодий помещика такого-то». Кто он был, этот мой предок? Был ли он дворянин? Этого я уже не узнаю. Бабушка ничем не отличалась от старых женщин из народа, одета была всегда в простые, одежды, соответствовавшие возрасту и положению, – других у неё просто не было. В кухне, в сарае, во дворе она была в фартуке, в платочке, повязанном на затылке. Она любила своих родных, своё хозяйство, – огород, скотину, – старательно готовила корм корове и поросёнку. В больших чугунах варила для них картошку в кожуре, тщательно толкла её, разминала руками, чтобы не осталось цельной картофелины, которая могла застрять в горле коровы, подмешивала рубленую траву, посыпала отрубями, добавляла к этому остатки еды со стола. Можно сказать, что корова и поросёнок имели отличное питание, потому и продукты, получаемые от них, были наилучшего качества.

Во время прошедших войн, в годы разрухи и голода, бабушка подбирала на улице несчастных людей, больных и вшивых, приводила домой, кормила, обстирывала, лечила, давала кров, несмотря на то, что имела пятерых детей и не Бог весть какой достаток. Однажды, во время Гражданской войны, она спустилась в погреб, где у неё оставалась кое-какая огородина, и неожиданно столкнулась там с грабителем, здоровенным солдатом, который при виде хозяйки бросился наутёк. Оправившись от испуга, бабушка сообразила, что солдат голоден. Кинувшись за ним, она остановила его, привела домой, накормила чем Бог послал, сделала другое, в чём он нуждался. Часто за это ей платили чёрной неблагодарностью. В те же годы был случай, когда неожиданно, ночью, у себя в комнате, в темноте, бабушка столкнулась с грабителем. Это так потрясло её, что она слегла и долгое время находилась на грани жизни и смерти, и уже не думали, что она останется в живых.

Особые отношения были у бабушки с разбойником Минькой, упитанным серо-белым котом, не упускавшим случая изловить мышку или воробья, постоянно вертевшимся возле неё, когда она готовила обед. Улучив минуту, Минька вспрыгивал на стол, хватал кусок мяса и бросался прочь от разгневанной бабушки. Несколько дней потом его нигде не было видно. Наконец он возникал в открытом люке чердака и начинал орать, вымаливая прощение. Бабушка не обращала на это внимания, занимаясь своими чугунами и ухватами. Минька спускался на одну перекладину лестницы, продолжая истошно вопить, стараясь показать этим, как он несчастен и как страдает. Бабушка по-прежнему не замечала его. Он спускался ещё на одну перекладину и когда добирался до последней, улавливал, что наказания не будет, бросался к ногам бабушки, начинал тереться об них, задравши хвост, громко мурлыкать, убеждая, что произошедшее просто досадная случайность, что на самом деле он совсем не такой, как можно было подумать, и больше такого никогда не будет. Бабушка всё понимала, но не могла не простить хитреца. В знак прощения он получал вкусный кусочек. Съев угощение, облизавшись старательно, Минька возвращался к обычному своему состоянию уверенности и полного довольства собой. Однако преодолеть или смирить воровскую наклонность Минька не мог, и в следующий раз всё в точности повторялось.

Мать много читала, была занимательной рассказчицей и часто, когда я уже лежал в постели, рассказывала мне что-нибудь из прочитанного, содержание интересного кинофильма, а иногда и читала вслух, в том числе стихи любимого ею Некрасова. Я с нетерпением ожидал её прихода с работы или возвращения из кино. К Новому Году она покупала разноцветную бумагу, блёстки, доставала сбережённую фольгу от шоколадных конфет, вату, заваривала крахмальный клейстер, и несколько вечеров мы предавались интереснейшему занятию: изготовлению ёлочных украшений. Клеили цепи, флажки, делали фигурки из ваты, разное другое.

Как-то накануне Нового Года, придя вечером с работы, мать позвала меня ехать в город покупать ёлочные игрушки. Ехали от вокзальной площади промёрзлым автобусом в центр, где были лучшие магазины. Вечер был морозный, звёздный. В стылом воздухе ярко сверкали улич-

ные фонари, мягко светились окна многоэтажных домов, всё было бело, под ногами звонко скрипел снег.

На площади была огромная ёлка, украшенная игрушками и фонариками. Вокруг ёлки, на снегу, стояли Дед Мороз и Снегурочка, Волк и три поросёнка, Красная Шапочка, доктор Айболит. В магазине тоже всё сверкало разноцветными огоньками. Улыбающаяся продавщица сделала большой кулёк из плотной бумаги, и нам наполнили его чудесными игрушками. Дома потом всё это мы разложили на столе, внимательно рассмотрели, и теперь оставалось ждать, когда придёт ёлка и мы будем её украшать.

Мы часто бывали в посёлке Карабановка, у Эммы, в домике с парадным крылечком. Почему-то простая его обстановка, обычные вещи пленяли, вызвали желание оставаться среди них, приходиться сюда снова и снова. Стол, стулья, диван, комнатные растения были, конечно, самыми обыкновенными. Комод украшали: фарфоровые фигурки, высокая, тонкая ваза с метёлками засушенных луговых трав, куклы, красивая морская раковина, из которой, если приложить её к уху, можно было услышать шум далекого моря. Вряд ли всё это было каким-то особенным, волшебным, но они чем-то пленяли меня.

Эмма имела богатый набор цветных карандашей, альбомы, книжечки и блокнотики для рисования, куклы, набор кукольной посуды и мебели, уголок, где они были красиво расставлены и бережно хранились. Нет нужды говорить о платицах, туфельках, ботиках, в которых она сама становилась похожей на куколку, но, главное, у неё были любимые мной книжки.

К дому примыкал огород, между грядками которого были посажены фруктовые деревья, кусты крыжовника и смородины. Во дворе, за домом, где был разведён цветник, мы расстилали на травке рядно, читали здесь книжки или рассказывали такое, о чём говорят дети, когда им столько же лет. Вся Карабановка, застроенная такими же домиками, казалось, грезилась летними днями под солнцем и ветром, тихим и радостным, утопая в зелени садов и пестроцветье палисадников.

Мой отец был неплохой художник-копиист. В то время он выполнял на заказ две картины, первая из которых, большого формата, скопированная с открытки, представляла двух борзых и перед ними на белом снегу затравленную ярко-рыжую лису. Другая была копией газетного снимка, запечатлевшего лейтенанта Пожарского, готовившегося совершить прославивший его подвиг в бою с японцами. Копировал он и другое, для себя: Маковского – девочки, бегущие от грозы; олени, пришедшие зимой к стогу сена. Стоя в углу комнаты, ближе мне не разрешалось подходить, как замороженный, боясь пошевелиться или издать звук, я наблюдал колдовство рождения ярких образов на полотне. Мне хотелось самому творить это чудо, но всё, что было доступно мне, – это рисовать простым или несколькими цветными карандашами на куске серой обёрточной бумаги, которую приносила для меня бабушка из какого-нибудь магазина.

Через дыру в нашем заборе я проник в парк, где в это время для детей разыгрывались призы. На бечёвке, протянутой между двумя берёзами, были развешены карандаши, ученические ручки, блокноты, разная другая мелочь, в том числе акварельные краски в виде пуговиц, наклеенных на картонное подобие палитры. Чего бы я ни дал, чтобы эти краски стали моими! Перед бечёвкой выстроилась очередь, во главе которой стали большие мальчишки, за ними хвост из таких же, как я, мальцов. Тому, чья была очередь, завязывали глаза, давали в руки ножницы, он подходил к бечёвке и пытался срезать что-нибудь, но чаще всего это не удавалось. Тогда большие мальчишки, которым надоела такая канитель, ринулись к бечёвке все сразу и стали срывать призы. Произошла свалка. Младшие последовали за старшими. Распорядительница растерялась, не умея навести порядок, стала быстро сворачивать свой аттракцион. Поняв, что вожделенных красок мне не получить, я устремился вслед за всеми и, изловчившись, сорвал-таки их с бечёвки. Наконец я заполучил настоящие краски! О том, что способ, которым достались они, был не совсем приличным, я конечно не думал.

Дома я срезал с головы клок волос, сделал из них кисточку, но когда стал рисовать, стараясь взять на кисточку как можно больше сочной краски, и увидел, что, высыхая, цвет делался жухлым и тусклым, был разочарован.

Вечерами приходила Эмма с родителями. Тётя Варя была домохозяйка, дядя Гена, как и дедушка, – машинист. Высокий, заметно лысеющий, добрый и сильный, он здорово подбрасывал нас к потолку – сначала Эмму, потом меня. Мы просили – ещё и ещё! Взрослые были недовольны – это было развлечением для нас, а не для дяди Гены, который, конечно, никогда не отказывал нам.

В то время как взрослые беседовали на кухне, мы уединялись в комнате дяди Коли, которого чаще всего в это время не было дома, и там, расположившись на участке стола, свободном от всевозможных дядиных приборов, деталей, занимались рисованием. В хорошеньком чемоданчике Эмма приносила с собой всё необходимое для этого: альбом, цветные карандаши, другие принадлежности. Лампа под зелёным абажуром освещала стол, где мы располагались, погружая остальную комнату в полумрак. У Эммы всё было нарисовано аккуратно, правильно: девочки, цветочки, домики, деревья. Я рисовал самолёты, танки, военные действия.

К концу вечера бабушка ставила самовар, разговоры продолжались, все пили чай с вишневым или крыжовенным вареньем.

Нам с Эммой, конечно, было интересно послушать, о чём говорят взрослые. Часто это были поражающие и даже пугающие рассказы. Вот, будто мужчина в театре среди публики увидел женщину в платье, в котором только что похоронил свою жену. Или слух о том, что парикмахер (видимо, враг народа) перерезал бритвой горло клиенту. Или случай, когда после грозы над землёй повис электрический провод. Кто-то хотел перешагнуть через него и замкнулся на нём. Другой, поспешив на помощь, схватил этого человека, чтобы оторвать от провода, но сам замкнулся. Потом в этой цепи оказался третий, четвёртый, пятый... Наконец кто-то догадался галошей выбить провод из рук первого взявшегося за него...

Обсуждали крушение на железной дороге, рассказывали про знакомого железнодорожника, который попал под поезд. Или о лётчиках, когда они выбросились с парашютами из самолёта, который загорелся во время учений, и у одного из них парашют не раскрылся.

Или вот ещё – мальчишки. Чего только с ними не происходило! В нашем парке, в берёзовой роще, селились вороны. В то время некоторые мальчишки собирали коллекцию птичьих яиц. Один из таких коллекционеров решил добыть вороньих яиц. Гнёзда вороны строили на большой высоте, и незадачливый охотник за яйцами сорвался оттуда. Шансов у него не было – он погиб на месте... Другой «везунчик» из числа наших знакомых попал под автомобиль. Это было просто невероятно. Автомобили на улице в то время были редкостью. Как его угораздило?.. Колесо проехало по тому месту, где у человека находится мочевого пузыря. К несчастью, в этот момент он был переполнен и лопнул... Ещё один искатель приключений забрался в бочку из-под бензина, оставленную без присмотра. Находясь в бочке, любознательный естествоиспытатель зажёл спичку. Произошли вспышка и взрыв. Счастьем было, что остаточное количество бензина и пары при вспышке сразу выгорели. Герой остался жив, но долго ходил с головой и лицом, залепленными марлей. Оставлены были только щелочки для глаз, которые чудесным образом не пострадали... По улице, недалеко от нашего дома, с другой стороны парка, находился одноэтажный восьмиквартирный дом, в котором жили железнодорожники. При доме был длинный общий сарай, во дворе было много детей. Компания друзей, четверо или пятеро мальцов, старшему из которых было не более семи лет, ни много, ни мало, – задурили поджечь сарай. На задней стороне сарая, прямо к стене сложили каких-то веток, щепок, газету, подожгли. Кусок газеты сгорел и пламя потухло. Что в таком случае делают взрослые? Правильно! Материал, который не хочет возгораться, поливают бензином. Где взять бензин? Да проще простого! Достать пипку и побрызгать, что и сделали всей компанией. Горючим

веществом обработали весь материал, даже стену сарая, но они почему-то не воспламенились. А в это время за сарай заглянул кто-то из взрослых.

Говорили ещё о разных домашних делах. Говорили и такое, что нам, детям, нельзя было знать. Тогда разговор шёл с намёками, с употреблением непонятных слов. Но мы-то знали, что если речь шла о ком-то, что его отправили на луну, это значило, что его расстреляли. Когда говорили про другого человека, что его отправили в Крым, мы понимали, что его отправили в такое место, которое совсем непохоже на Крым, но сказать об этом открыто было нельзя.

Так много интересного, о чём говорят взрослые, мы слушаем, стараясь не пропустить ни слова. Но главное в этих беседах – спокойная и добрая сердечность течения вечерних часов, она передаётся и нам, и мы хотим, чтобы вечер длился как можно дольше.

Но вот заканчивалось чаепитие, заканчивались разговоры, заканчивался и вечер.

В поздний час мы провожали гостей – через площадь, мимо вокзала, к переходному мосту. Небо в это время усыпано яркими звёздами, в парке сверкали огни, играл духовой оркестр, гулянье было в разгаре. И всякий раз было жалко, что надо расставаться.

Дядя Коля, брат матери, работал мастером на машиностроительном заводе. Он имел гриву золотисто-рыжих волос и склонность к саркастической шутке. Как и дедушка, владея талантом делать всё своими руками, паял, точил, клеил, пилил, немного рисовал, фотографировал, ретушировал снимки, собрал радиоприёмник. Для этого у него были все необходимые принадлежности, различные инструменты и приспособления. Был у него также и велосипед, на котором он ездил на работу и много с ним возился, что-то в нём ремонтируя, усовершенствуя. Комната его была настоящей мастерской. Два больших письменных стола, придвинутых возле окна один к другому, образовывали обширную поверхность, заставленную разного рода инструментами, какими-то железками, приспособлениями, реагентами. Как-то, войдя к нему, я увидел среди прочих предметов коробочку с насыпанным в неё горкой белым порошком. Подумав, что это, может быть, что-нибудь сладкое, я лизнул порошок – оказалась противная гадость. Вошедший как раз в эту минуту дядя Коля, заметив, что я сделал, спросил насмешливо: «Что, вкусно?» Он был шутник и насмешник.

Обстановку комнаты дяди Коли составляли: никелированная кровать с шишечками, обитый голубым дерматином диван с валиками, платяной шкаф. Низкая лежанка, облицованная белым кафелем, была слишком жаркой, потому на ней лежали только во время болезни, если нужно было согреться.

У дяди Коли можно было увидеть диковинные вещи, например, электрическую лампочку величиной с большую тыкву. Однажды ему доставили целую гору хоккейных коньков вместе с ботинками – видимо, это был заказ наточить их.

Радиоприёмник, собранный им, звучал сквозь волшебное потрескивание таинственными голосами далёких миров, музыкой, прорывавшейся оттуда волнами, вызывая фантазии о неведомых странах, о чудесном, недостижимом, волновавшем смутными мечтами. Слушать это доставляло ни с чем не сравнимое переживание. Я весь растворялся в этих звуках, переносясь в пределы, откуда приходили они. Казалось, они так далеко, как звёзды на небе, и оттого навсегда останутся неразгаданной тайной. Душой овладевало страстное желание, которое оставалось без исхода и без ответа.

Однажды, когда я был прикован к постели, в гипсовой своей коробке, дядя Коля, придя с работы, с порога нашей комнаты бросил мне огромный, душистый, ярко-оранжевый апельсин. Апельсин был из Испании, где в это время шла гражданская война. Кажется, он был первый в моей жизни. Я долго играл с ним, прежде чем съесть его.

Дядя Коля был ещё и шалун. Как-то, на Пасху, он выкрасил Миньке в красный цвет мужские его принадлежности, которые называл «ириниты» и которыми Минька потом красовался, разгуливая с задранном хвостом.

Был случай, когда дядя Коля предотвратил большое несчастье, уготованное кем-то для нас. Домой он приходил поздно, часто засиживался у себя за полночь и однажды, выйдя в такое время во двор, увидел, что под стеной дома со стороны огорода возгорается пламя. Кто-то сложил там сухих веток, прочего горючего материала и сделал поджог. Пламя только начинало разгораться, и дядя быстро загасил его.

Дядя Коля много фотографировал, проявлял, печатал снимки при свете красного фонаря, ретушировал, используя специальное приспособление, разрешал мне наблюдать за его работой. Кое-что из этих снимков сохранилось. Они напоминают о том, что было и так давно прошло.

В те годы в городах, даже больших, особенно по окраинам, люди держали домашнее хозяйство, подобное тому, какое было у бабушки, в котором обязательно была корова. И так как коров надо было пасти, ближайшие соседи собирали стадо и нанимали пастуха, которого по очереди каждый из общинников брал к себе на неделю на полный стол и ночлег. Бабушка участвовала в общине. Таким пастухом одно лето был Василь – деревенский парнишка с выгоревшими на солнце соломенными волосами, – серьёзный, самостоятельный, знавший и умевший много такого, чего не умели те, кто жили в городе. Он покорила меня дружеским отношением, хотя был намного старше, тем ещё, что умел делать ореховые тросточки с красивым чёрно-белым орнаментом, а также дудки, свистки, однажды сделал самопал, из которого подстрелил ворону. У него был длинный бич, с помощью которого он управлял стадом, ловко щёлкал им, давал попробовать и мне, но у меня не получалось – не хватало сил. Спал Василь в кухне на бабушкином сундуке, вставал на рассвете. Бабушка кормила его завтраком, собирала для него в холщовую торбу еду, и он на целый день уходил со стадом. Вечером, пригнав стадо, ужинал, и остальное время мы проводили вместе. В воскресенье, в свой выходной, который ему полагался, он что-нибудь мастерил для меня – конечно, сделал свисток и тросточку, человечка-физкультурника, а когда приходила Эмма, тоже участвовал в занятиях рисованием. Неделя кончалась быстро, Василь переходил к другим хозяевам, а я с нетерпением ждал, когда он снова придёт к нам.

В повседневной жизни происходили разные события – большие и маленькие, имевшие какое-либо значение или интересные только для меня.

В десять часов утра по радио шла детская передача. Репродуктор, висевший в нашей комнате возле окна, представлял собой прямоугольный, плоский ящик, на лицевой стороне которого дядей Колей было изображено озеро с лебедями, с берегами, поросшими лесом, и розовым рассветным небом. Взбравшись на подоконник, затаив дыхание, боясь пропустить хоть слово, я слушал интереснейшие инсценировки: «Пятнадцатилетний капитан», «Али-Баба и сорок разбойников», «Аладдин и волшебная лампа». Длинные инсценировки транслировались в течение нескольких дней, и всё это время я находился в горячем возбуждении, в нетерпеливом ожидании продолжения передачи, захватившей воображение, взволновавшей видениями чудесных стран и опасных приключений.

Внезапно по улице, с грохотом на булыжной мостовой, мчалась танкетка. Я не успевал добежать к забору, чтобы поближе её рассмотреть, – развернувшись, с лязгом, она уносилась обратно.

Вдруг улица преображалась – двигался шумный и пёстрый цыганский табор. Ехали повозки, затянутые тентом, шли цыганки в своих невероятных нарядах, увешанные серьгами и монистами, на руках – браслеты и кольца, возле них скакали и прыгали разного возраста цыганята. Долго потом ходили рассказы о хитрых цыганках и обманутых горожанах.

Зимой дядя Коля принёс и положил во дворе недалеко от калитки раздобытую где-то длинную, метра четыре, железную полосу. С улицы она хорошо была видна на снегу. Однажды, когда я гулял во дворе, по улице проезжал на санях крестьянин. Увидев полосу, он остановился и стал спрашивать моего согласия взять её себе, за это предлагал прокатить меня на санях.

Я, конечно, согласился. Хитрый колхозник быстро положил полосу в сани, посадил меня, и я проехал с ним метров триста. Он прокатил бы меня сколько угодно ещё, но я сам не решился ехать далеко. Дома пропажа полосы быстро обнаружилась, и меня ругали за то, что я так глуп: из этой полосы дядя Гена собирался заказать у кузнеца хорошие санки.

Летом из Москвы приехал старший брат матери дядя Вася с сыном Вадимом, моим двоюродным братом. Вадик был старше на четыре года, настоящий москвич – шустрый и быстро соображавший. Мы увидели из окна бредущую по дороге без кучера извозчичью лошадь с коляской. У Вадика тут же сработала смекалка. «Бежим!» – скомандовал он. В одно мгновение мы оказались возле лошади. Я запрыгнул на сиденье, Вадик – на облучок, взял вожжи, и мы поехали. Это был настоящий угон транспортного средства.

Вдруг сзади послышался крик – размахивая кнутом, за нами бежал извозчик. Вадик остановил лошадь. Извозчик подбежал и... стал благодарить нас за то, что мы спасли коляску и лошадь, ещё и прокатил нас. И нужно сказать – это несравненное удовольствие. Кто сейчас может понять такое? Рессорная коляска на шинах, кожаные сиденья, прорезиненный, со специфическим запахом, откидной верх, сверкающие лаком и никелем детали, конь – красавец, отличная сбруя. Катисься, будто плывёшь, и по мостовой цокают подковы.

В Москву попеременно ездили дедушка, бабушка навестить дядю Васю, дядю Федю с их семьями, ездил отец. Каждый раз я с нетерпением ждал их возвращения – они должны были привезти новую книжку. Из этих книжек запомнилась большого формата с приятной жёлтенькой обложкой – стихи Михалкова. Стихи мне понравились, как и сама книжка, хорошо оформленная, с интересными картинками. Стихи были про дядю Стёпу, про туриста, и самое интересное – про упрямого Фому.

Иногда случалось мне заболеть. Тогда приходил доктор, добродушный человек – кругленький, с животиком, с головой, лишённой малейших признаков растительности, имевший при себе в саквояже докторские принадлежности. Входя с мороза, он раздевался с помощью бабушки, умывал руки нагретой для него водой, спрашивал, что случилось, доставал из саквояжа докторский халат, облачался в него, подходил ко мне, лежавшему в постели, давал измерить температуру, выслушивал с помощью трубочки, выстукивал, просил чайную ложечку, пользуясь которой, осматривал горло, требовал сказать «а-а-а». Наконец выписывал «микстурку», «порошочки», рекомендовал горчичники, грелку, компресс или банки, говорил что-нибудь подбадривающее, а выполнив всё что нужно, снимал халат, укладывал его и прочее в саквояж и уходил. Позже я узнал, что доктор был всего лишь фельдшером.

Однажды у меня заболело ухо. Было назначено лечение. Ночью боль в ухе усилилась. Я решил, никого не беспокоя, полечиться самому. Днём мне закапывали что-то, и на тумбочке, возле постели, оставалось много разных пузырьков. Я выбрал наиболее полный, лёг на здоровое ухо, а больное до краёв наполнил из этого пузырька. Жидкость была прохладная, стало легче, и я уснул. Утром, подойдя ко мне, мать и бабушка всплеснули руками. Оказалось, я влил себе скипидар, который к тому же разлился по щеке, образовав ожог.

В то время всем детям в обязательном порядке делали прививку против дифтерита. Делали три очень болезненных укола с перерывом между ними в несколько дней.

Мы с Эммой обедаем в кухне. Во дворе мелькает фигура, мы сразу узнаём – это укольщик. Эмма начинает громко кричать. Бабушка уговаривает, утешает её. Я, как мужчина, креплюсь.

Укольщик раскладывает сверкающие никелем страшные свои приспособления. Он рыжий, говорит что-то успокаивающее, но мы-то знаем, как больно будет несколько дней после укола.

В разное время у меня были ворона, воробей, белочка. Ворону подстрелил из самопала Василь. Она была ранена в крыло и не могла летать. Я ухаживал за нею, но она умерла. Я

устроил ей настоящие похороны – в гробике, для чего использовал подходящую коробочку. За сараем вырыл ямку, сделал надгробный бугорок, соорудил памятник из какой-то палочки.

Воробья, замерзавшего на снегу, принёс дядя Коля. Он отогрелся, ожил и стал перелетать из комнаты в комнату, возбудив алчное внимание Миньки. Я гнал Миньку, защищая воробья, но всё было напрасно. Глаза у Миньки разгорались, он прыгал за воробьём на шкаф, на печку, и однажды под кроватью я нашёл маленькую кучку пёрышек – всё, что осталось от бедного воробья.

Белочка была симпатичный, забавный зверёк. Мне подарили её крохотным бельчонком, рыженьким и пушистым. Выросши, она сделалась ручной, забиралась в кухне на стол, подсаживала к сахарнице, хватала лапками кусочек сахара, тут же грызла его. Она жила свободно, не в клетке, любила, свернувшись калачиком, поспать на постели в тёмной спальне дедушки и бабушки. Придя с работы, дедушка решил отдохнуть и, не заметив, лёг прямо на белочку. Несколько дней после этого она проболела и умерла.

Как у всех маленьких детей, у меня были любимые и нелюбимые кушанья. Нелюбимыми были фасолевый суп и суп с сушёными грибами. А самое любимое кушанье – чёрный хлеб, крошенный в кружку и залитый молоком. Я появился на свет в голодное время, и мать рассказывала, как однажды ехала она со мной в поезде и стала кормить меня этим крошевом. Я был ещё совсем мал, а рядом ехал военный, который проникся к младенцу сочувствием и дал матери батон прекрасного белого хлеба. Младенец же поразил доброго человека тем, что отказался есть белый хлеб, а продолжал употреблять свой, чёрный, с молоком. Конечно, были и любимые лакомства: заварное пирожное, мороженое. Мороженое продавалось на улице из бидона. Мороженщица черпала ложкой некоторое количество, закладывала в форму и выдавливала порцию в виде бочонка, заключённого между двумя вафельками. Оно имело приятный желтоватый цвет, было очень вкусно и стоило копейки. Около мороженщицы постоянно толпились дети.

Дядя Коля и дедушка ходили по грибы, приносили полные корзины боровиков, подосиновиков, маслят, испускавших особенный грибной аромат. Ходили и по орехи. А однажды дядя Коля принёс целую корзину живых чёрных раков. Бабушка потом бросала их в кипяток. Они становились красными, и белое мясо их было очень вкусно.

В весеннем саду цвели деревья. Мириады пчёл наполняли его дремотным гуденьем, погружая в состояние, будто это успокаивающий, сладкий сон. Ярко потом желтели одуванчики, свежо зеленела нежная травка. Славно было сидеть или лежать на ней, глядя в небо, где высоко-высоко летел самолёт с прицепленной к нему «колбасой». Другой самолёт стрелял в неё из пулемёта. Иногда пролетающий на небольшой высоте самолёт выбрасывал листовки, засыпая ими улицу, двор, сад. Я собирал их потом – все, сколько мог найти. Текст листовок, конечно, никого не интересовал, но зрелище, когда они падали с неба, вызывало восторг. Видел я и дирижабль, летевший медленно, высоко.

В саду был шалаш, но гулять по саду не разрешалось до тех пор, пока дедушка не скосит траву для коровы. А когда сушилось сено, по саду распространялся чудесный запах его, смешанный с запахом зреющих яблок.

В саду за сараем я нашёл неизвестно как и откуда попавшую туда книгу для чтения, наверное, в четвёртом классе, с оторванной обложкой. Там я прочёл запомнившееся с тех пор:

Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало...

Это была дорогая находка. Я не расставался с книжкой до тех пор, пока не прочёл всю – рассказы, сказки, стихи.

Книги были моей страстью, но, может быть, потому, что во мне жил также художник, я любил книги с хорошими картинками, которые рассматривал подолгу и помногу. Я не мог заставить себя читать книгу, лишённую иллюстраций. Они возбуждали во мне интерес к содержанию, разжигали воображение. Такие книги оставили незабываемую память – не только из-за содержания, но и по воспоминаниям общения с ними. Вначале это были «Русские народные сказки», «Конёк-Горбунок», сказки Пушкина, Чуковского, потом сказки Андерсена, «Тысячи и одной ночи». Прелестная книжка-малышка величиной с ладонь содержала всего два стихотворения и была замечательно украшена цветными рисунками. Одно было стихотворение Жуковского про котика и козлика, другое – Пушкина: «Румяной зарёю покрылся восток...»

Волшебство этих слов было восхитительно тонко повторено в рисунке и цвете: заря, село за рекой, стадо на зелёном лугу...

Любимой игрой стало самому делать книжки. Я нарезал одноформатные кусочки бумаги, сшивал их нитками в виде тетрадки, придумывал содержание, которое начиналось словами «жили-были», записывал его печатными буквами на каждой нижней половине страницы, а верхнюю украшал своими рисунками.

Мать отвела меня в клубную библиотеку. Меня записали, выдали книги, и это было величайшее событие. Библиотека произвела неизгладимое впечатление. Книги там громоздились на полках до самого потолка. Многие были потрёпанные, старые, с замусоленными и лохматыми страницами, они-то привлекали в первую очередь. От них исходил волшебный книжный дух. Я не любил совсем новых, нетронутых книг, если они были к тому же без картинок. Пользуясь предоставленной мне возможностью, я прочёл тогда много интересных книг. Но вот однажды мне дали «Гуттаперчевого мальчика», я почему-то никак не мог приняться за его чтение, – должно быть, рисунки в книжке были неинтересны, – и мой братишка, которому исполнилось тогда столько, что он сумел взять ножницы, порезал её. Это был страшный удар. Я не мог вернуть испорченную книгу и перестал ходить в библиотеку. Так продолжалось долго. Наконец, через мать я получил требование явиться в библиотеку. Страшась наказания, чувствуя себя преступником, я понёс изуродованную книгу. Но странно, меня не ругали и, к ещё большему удивлению, без малейшего упрека оставили право пользоваться книгами. Повесть о гуттаперчевом мальчике я прочёл значительно позже. Я оценил её и навсегда запомнил слова эпитафии: «Когда я родился, я заплакал. С тех пор каждый прожитый мною день объяснял мне, почему я заплакал, когда родился...»

Из разговоров взрослых мне было известно, что на чердаке нашего дома свалены в кучу какие-то старые, наверняка интереснейшие книги. Я сгорал нетерпеливой мечтой о времени, когда смогу забраться туда, увидеть всё своими глазами, разобрать этот клад и конечно, найти там такое, что окажется интересней всего, что я знал до этих пор. Из этих сокровищ кто-то достал однажды «Войну миров» – жуткое и захватывающее чтение о нападении на землю марсиан, с выразительными, надолго врезавшимися в память иллюстрациями.

Как новое счастье, приходила весна. Звенели капли, сверкали сосульки, таял, сокращался в своих наметах снег. Суетились, поднимали гвалт воробьи. Небо становилось нежной, чистейшей голубизны, ярко и горячо сверкало солнце. На улице перед домом шумливые ватаги мальчишек пускали кораблики, делали запруды, строили мельницы.

В саду на лоне прошлогодней травы прозрачными струями изливались хрустальные ручьи. Переливаясь, вспыхивая отражёнными лучами, они журчали ласково, грустно, навевая чувства неизъяснимые, мечты о неведомом, потаённом, которое где-то существует и мучительно желанно. Какое оно могло быть? Под ярким небом и слепящим солнцем детское воображение было не в силах представить отчётливое его видение. Оно было, конечно, рядом, совсем близко. Но не было никого, кто пришёл бы сюда и здесь, в сверкающей тишине весеннего сада, при сладостном, завораживающем журчанье торопливых струй обрисовал его образы, назвал ускользающие их имена...

Иногда, промочив ноги и простудившись, я должен был оставаться дома. Тогда было непереносимой мукой запертым в четырёх стенах наблюдать ликование весны из окна, в которое горячо светило солнце, в то время как на улице другие дети предавались шумным своим забавам.

Но вот становилось сухо, всё начинало зеленеть и цвести, принося с каждым днём новые впечатления и новую радость: первая травка, первая бабочка, первый листок на дереве, майские жуки, ласточки. Наступало лето со своими теплом и зноем, с грозами и бурными ливнями, с лепечущей листвой, с плодами, зреющими в саду, с долгими мечтательными вечерами.

Какое это было блаженство – первый раз после холодов выйти из дома только в рубашечке и с непокрытой головой! И каждый день находить в природе всё новые, всегда как чудо, её превращения: белое и розовое буйство цветущего сада, усыпляющее гуденье пчёл, а по другую сторону забора, в берёзовой роще, мелкая и яркая вначале зелень листочков с каждым днём становилась гуще, темней, и вот она наполнялась протяжным шёпотом, таинственным шумом. Там, в саду, глаза невольно устремлялись в небо, где медленно шли облака. Они, пустынная и бескрайняя голубизна над ними, лёгкий и ласковый этот шум, завораживали, заставляли долго смотреть и слушать, и от этого, как от доброй улыбки, становилось так радостно и так хорошо.

Жаркие полдни, задумчивые облака, пылающие закаты тихих и тёплых вечеров... Знойным дням, казалось, не будет конца... Но лето заканчивалось. Дедушка начинал убирать яблоки и груши с помощью длиннейшего шеста, расщеплённого на конце, осторожно снимая с дерева каждый плод, бережно укладывая их горкой на траве. В саду стоял запах антоновских яблок.

Шла осень. Дни становились короче, солнце больше не жгло, отдавая земле последнее своё тепло. На деревьях желтели и краснели листья. Дедушка сгребал их большими кучами – они были ярких и разных расцветок. И было особенным удовольствием зарыться в них и смотреть в небо. Оно было синее, но не такое, как весной, – остывающее, прохладней и как будто темней.

После солнечных дней сентября начинали идти дожди. Листья всё падали, устилая землю ярким и пёстрым ковром. Холодный ветер гнал их, разбрасывал по дороге. Дни наступали мрачные, тёмные. Тяжёлые тучи укрывали небо. Голые деревья мокли под ледяным дождём. Начинался ноябрь.

В такие дни в комнатах было сумрачно, скучно. Бабушка, как всегда, хлопотала на кухне, уходила надолго в сарай, к своим любимцам, которые нетерпеливо ждали её. Я слушал радио, читал, рисовал, смотрел в окно, наверное, о чём-то думал...

Вечером в спальне бабушка топила печку – круглую, в железном панцире, у нас она называлась голландкой. Если приходила Эмма, мы подступали к бабушке с двух сторон, упрашивая её рассказывать сказки. Она сидела на низенькой скамеечке, подбрасывала в топку поленья, ворошила их кочергой. По углам спальни прятался мрак, на стенах, оклеенных старинными обоями, плясали отсветы пламени. От печки вместе с её жаром, от самой бабушки шла волна домашнего уюта, и казалось, что волшебное, чудесное, – оно уже здесь, рядом, сейчас. Тёмная спальня была нашим любимым местом. Здесь мы никому не мешали и нас никто не видел. Мы как-то играли, рассказывали что-то, наверное, хвастались чем-нибудь друг перед другом. В спальне стоял большой мешок с сушёными яблоками и грушами, из которых бабушка варила компот. Мы выискивали там сладкие груши и лакомились ими.

Между нами завязывался учёный диспут о происхождении человека. Я утверждал, что человек произошёл от обезьяны.

– А вот и нет, – возражала Эмма, – человек произошёл из живота!

Как можно было поверить в такую глупость?! Как это человек может произойти из живота?! От обезьяны – это понятно, но из живота?! Но Эмма стояла на своём. И было странно,

что когда мы обращались за разрешением спора к взрослым, то ответ был какой-то неопределённый. Мне говорили:

– Да, человек произошёл от обезьяны.

Но как будто были согласны и с Эммой, и она торжествовала надо мной:

– А вот и нет! А вот и нет!..

Конечно, мы и ссорились, бывали обиды. Во время грандиозного фейерверка в парке к нам в сад опустился парашютик от сгоревшего на нём пиротехнического заряда. Я считал, что парашютик должен принадлежать мне, потому что и двор, и сад были моими, так как я здесь жил, но взрослые присудили парашютик Эмме. Качествами джентльмена я не обладал, потому был обижен до слёз и понял, что Эмму любят больше, чем меня. Между тем парашютик был всего лишь куском бесцветного парашютного шёлка с примитивным устройством для удержания под ним горючей смеси. Обиды, конечно, забывались, ведь я любил Эмму, и мы встречались не так часто, сколько хотелось.

Но вот однажды, проснувшись утром в своей постели, я замечал странную перемену в доме. Комната вдруг стала какой-то особенно светлой и большой. Из кухни слышалось, как входившие со двора топали у порога и как-то по-новому, бодро, громче обычного, звучали голоса. Спрыгнув с постели, я подбегал к окну, и чудо – там всё было бело, вчерашнего мрака, черноты как не бывало! А с неба крупными хлопьями, медленно кружась, падал и падал снег.

Я быстро завтракал, быстро одевался, всё, конечно, с помощью бабушки, шёл во двор. Всё-всё там было покрыто пушистым снегом: крыльцо, двор, сарай, каждое дерево и каждая ветка, всё было бело в саду, и то, что дальше, – улица, весь город, и было тихо-тихо. Подставляя лицо холодным снежинкам, я радовался этому чуду, лепил снежки, снежную бабу.

В один из таких дней после обильного снегопада во дворе собралась целая свора собак – должно быть, приятели нашего Томика. В компании выделялся большой чёрный пёс с вислыми ушами. С высокого крыльца я стал забрасывать собак снежками, на что они никак не отзывались, но все внимательно наблюдали за мной. Расхрабрившись, я стал спускаться по ступенькам крыльца, продолжая кидаться, и, наконец, сошёл с последней. Тогда чёрный пёс, не спеша и молча, подошёл ко мне, поднялся передо мной на задние лапы, а передние положил мне на плечи. Я упал, и он стал надо мной. От страха я не мог ни пошевелиться, ни издать какой-либо звук. Черныш постоял так минуту, глядя поверх меня и как бы задумчиво, и отошёл – с достоинством, не зарывав, не залаяв. Вскочив на ноги, я мгновенно взобрался на спасительное крыльцо.

С собаками было ещё одно приключение. В нашем саду не было ни одной сливы. Между тем, у соседки, старухи-польки, на её участке, граничившем с нашим садом, росло чуть ли не с десяток сливовых деревьев, плоды которых были отчаянно соблазнительны – крупные, светящиеся соком, жёлтые и розовые, я лелеял мечту добраться до них. Часто прохаживаясь вдоль ограды из колючей проволоки, поглядывая на эти, такие близкие, сливы, я не мог не вызвать подозрений. И однажды, решив, что настал благоприятный момент, быстро подлез под протянутую колючку. От дома соседки, видимо всё это время наблюдавшей за мной, тотчас понеслись ругательства на польско-русском наречии. Вслед за этим на меня бросилась целая свора собак, которых держала она. Мгновенно выскользнув из-под проволоки, я кинулся бежать, но, видя, что собаки уже догнали меня, остановился под ближайшей яблоней, повернувшись к ним лицом. Их было пять или шесть. Они окружили меня и грозно облаивали. Постояв так некоторое время и решив, что ярость собак утихла, я выскочил во двор со всей быстротой, на какую был способен, захлопнув калитку перед сворой. Удивительно, но собаки, обычные дворняги, которые легко догнали меня, не укусили, хотя вполне могли это сделать. Неужели они снизошли к моему глупому младенчеству и только поугали меня?

Приближался Новый Год. Я постоянно спрашивал взрослых, сколько ещё осталось дней. Наконец день этот наступал, в дом вносили ёлку – высокую, до потолка, раскидистую, пуши-

стую, распускавшую по комнатам лесной дух, вызывая бурю восторга. После того как бабушка или дядя Коля устанавливали её на кресте, мать и я начинали развешивать на ней украшения – игрушки, потом конфеты, печенье, грецкие орехи, завернутые в фольгу, красные яблочки, купленные, так как у нас таких не было, мандарины. На ёлке крепились также тонкие разноцветные свечи. Их зажигали под строгим присмотром взрослых. Мягко колеблющееся сияние их с золотым ореолом вокруг язычка пламени было волшебным трепетным, непередаваемо дивным. Погружённая в таинственный полусвет, мерцающая разноцветными огоньками, ёлка была настоящей сказкой, которая вдруг пришла в дом. Славно было забраться под навес раскинутых ветвей, к Деду Морозу, поставленному среди сугробов ватного снега, лежать так и думать, что вот ты уже в другой, чудесной стране, и сейчас начнётся удивительное, чего ещё не было никогда!

Подарки для нас к Новому Году были самые простые. На сохранившейся фотографии тридцать седьмого года мы с Эммой стоим возле нарядной ёлки и держим их в руках – у Эммы гуттаперчевый негритёнок-голыш, у меня небольшая лошадка из папье-маше.

После Нового Года тянулись долгие дни снегов и мороза. Снежные бури, вьюги, снегопады сменялись морозными солнечными днями. Тогда я катался во дворе и в саду на лыжах и санках. В доме было тепло, натоплено, играло и говорило радио, в кухне бабушка топила печь, орудовала ухватами, сковородниками, я опять рисовал, читал, но уже хотелось тепла, весны.

Совсем другая жизнь, манящая к себе, томившая желанием приобщиться к ней, шла за пределами двора и сада. На трекке носились мотоциклисты, на футбольном поле разыгрывались матчи футболистов. Сквозь широкие щели в заборе всё это было хорошо видно из нашего сада.

По вечерам в берёзовой роще шло гулянье. Вдоль цветочных и кустарниковых насаждений непрерывными потоками шли нарядно одетые люди, оживлённо разговаривая, смеясь. На балконе летнего клуба играл духовой оркестр. Внизу, на площадке, кружились танцующие пары. Иногда устраивался зрелищный фейерверк, как тот, когда мы поссорились из-за упавшего в наш сад парашюта. Это было настолько похоже на то, что потом показывали в кинофильме «Истребители», что, казалось, там были именно этот фейерверк и наш парк. Парк посещали дядя Гена, тётя Варя и моя мать, брали и нас с Эммой. Чувством этих прогулок был праздник среди огней, музыки, счастливой толпы.

Днём в парке было пустынно. Не было никого на аллеях, на трекке, на футбольном поле. Тишина, которая приходила оттуда, соединялась с тишиной нашего сада, и тогда в этом мире оставались лишь солнце и небо, мечтательная задумчивость природы.

Дом наш стоял рядом с вокзальной площадью, в центре которой за невысокой оградой был скверик, тенистый от деревьев, разросшихся там кустарниковых акаций. На нашей Первомайской улице, смыкавшейся с площадью, во время праздников собирались демонстранты, гремели оркестры. Отсюда к центру города начиналось шествие колонн.

Ярким солнечным утром Первого мая сюда подошла полуторка с устроенными в кузове лавками, специально оборудованная к этому дню для перевозки детей. С разрешения матери я тоже забрался в эту машину, и много часов потом мы ехали вместе с потоком демонстрантов к центру города. Я, кажется, первый раз ехал так в машине. Конечно, это было исключительное событие. Кто был мальчишкой в те годы, поймут меня. А в обычные дни улица наша была малолюдная, тихая, даже пустынная.

Рядом с вокзалом находилось основное здание клуба, где была и библиотека. В клубе показывали кино. Деревянное строение это с архитектурными претензиями в виде каких-то башенок, шпилей, выкрашенное охрой и суриком, окружали старинные тополя. Фойе украшали растения в кадках. Здесь были столики для желающих поиграть в домино, шахматы, шашки. Перед началом сеанса с эстрады, специально устроенной для этого, выступали певцы, певицы, играл оркестр.

Здесь я видел: «Огни большого города» и «Новые времена», «Волга-Волга», «Весёлые ребята», «Дети капитана Гранта», «Василиса Прекрасная», фильмы о лётчиках и моряках,

о революции и Гражданской войне, о шпионах и врагах народа. Эти последние, такие как «Ошибка инженера Кочина», «Партбилет», производили сильное, однако тяжёлое впечатление. Несмотря на малый свой возраст, я вполне воспринимал подавляющий пафос этих картин.

Атмосфера страха, сеявшаяся вокруг, расклеенные повсюду плакаты, изображавшие «ежовые рукавицы» в действии, другие, подобные им, достигали того результата, на который были рассчитаны. Ходили пугающие слухи о шпионах и диверсантах, которых, кажется, было уже столько, что опасность подстерегла на каждом шагу. Едва ли не каждодневные разговоры взрослых о том, что ночью «взяли» кого-то, заставляли держать в уме постоянную, смутную тревогу. И однажды глубокой ночью (а все эти дела, как и вообще чёрные дела, творились по ночам) к нам громко и требовательно постучали. Вошли люди в форме НКВД. Начальник спросил фамилии проживающих, потребовал паспорт бабушки. Сидя за столом, он смотрел в свои бумаги и что-то писал. Вдруг он спросил имя-отчество бабушки, хотя паспорт был у него перед глазами. Бабушка ответил, а анквэдэшник назвал из своих бумаг другие имя и отчество. Оказалось, пришли за человеком под той же фамилией, проживавшим в маленькой избушке позади нашего дома. Так бабушка и все родные пережили несколько минут настоящего страха. В ту ночь добыча служителей преисподней была в другом месте.

А в первые дни нового года, рано утром, пришли все в слезах тётя Варя и Эмма – ночью забрали дядю Гену. Дяде, однако, невероятно повезло. Он попал в тот короткий промежуток, когда некоторых арестованных выпустили. Его освободили через две недели, он вышел бледный, заросший чёрной бородой. Были и радость, и слёзы по поводу его освобождения, и потом он рассказывал, как их били валенком, в который закладывали тяжёлый камень. Так отбивали внутренности, не оставляя на теле пыточных следов. Думаю, это было не последней причиной ранней смерти дяди Гены.

Обстановка окружающей враждебности, чувство, что кругом шпионы и враги, усиливались проходившими судебными процессами над троцкистами и бухаринцами, а также обычаем устраивать грандиозные похороны крупных деятелей и героев, как Горький, Орджоникидзе, Чкалов. Трансляции этих похорон с чеканным голосом диктора и траурной музыкой вызывали мрачные впечатления и тяжёлые чувства. Из нашего репродуктора я слушал их, затаив дыхание, каждый раз от начала до конца.

Происходили ещё какие-то странные, в то время непонятные события. Однажды всё обозримое небо покрыло несметное количество самолётов-бомбовозов, летевших низко – медленно, тяжело. Перелёт длился довольно долго. Что это было? Не знаю об этом ничего. В другой раз, тоже на небольшой высоте, пролетел какой-то не такой, не наш самолёт. Из разговоров взрослых было знание, что это немецкий, фашистский самолёт, и почему-то из-за этого плакала Эмма. Возможно, на этом самолёте в Москву прилетал Риббентроп?

Конечно, нам было известно о существовании очень плохих людей – фашистов. Они находились в Германии и убивали всех хороших людей, а особенно самых лучших – коммунистов. Об этом рассказывал фильм «Карл Бруннер», в котором трогала судьба немецкого мальчика, представленная интересно и человечно. Шла война в Испании, фашистские самолёты бомбили испанские города. В «Правде» была напечатана карикатура: могучий республиканский солдат наносит сокрушительный удар генералу Франко, – а он же и есть фашист, – удар, от которого у злобного генерала из перекошенной пасти вылетали зубы. И гордо звучало: «Они не пройдут!»

Были в то время фильмы о жестоких басмачах и злых белофиннах. На вокзальной площади состоялся митинг лётчиков, вернувшихся с финской войны. Слушая выступавших ораторов, они заполнили значительную часть площади – в тёмно-синей своей униформе, в пилотках, с медалями и орденами на груди.

Но были другие события, захватывавшие воображение: перелёт Чкаловского экипажа через Северный полюс в Америку; Папанинская эпопея; подвиг лётчиц самолёта «Родина»;

ещё не утихли рассказы о недавней Челюскинской экспедиции, о лётчиках Водопьянове, Громовете, Леваневском. В героическом обрамлении представлялись бои с японцами на Дальнем Востоке. Обо всём этом печаталось в газетах с большими заголовками, снимками, проводились помпезные передачи по радио, показывалось в кино. Таково было это время. И вот его голоса уже далеко, и мало кто слышит их.

В те дни мне пришлось близко узнать, что на свете есть смерть. Умерла молодая женщина, жившая через дорогу от нас. Похороны были многолюдные, с большим количеством цветов, среди которых утопали гроб и покойная, с духовым оркестром и душераздирающей музыкой.

А незадолго до моего отбытия в санаторий умер от диспепсии мой десятимесячный братик. Хоронили его мать, дядя Гена, тётя Варя, Эмма и я. День был радостный, яркий. Я впервые оказался на кладбище. Затенённое старыми деревьями, с памятниками и свежими холмиками могил, укрытыми венками, оно произвело неизгладимое впечатление, заставив подумать о тех, кто были и кого больше нет, о таинственном, страшном, обозначаемом словом «смерть».

Маленькая могила была вырыта в ярко-жёлтом песке, на пологом спуске к долине, на краю кладбища. В красном гробике лежал хорошенький мальчик – в кружевах, похожий на куклу чистым, без кровинки лицом. Страшное это было дело: пугающий зев могилы, куда навеки был положен и засыпан влажным песком маленький человечек. И как радостна была картина летнего дня, говорившая о прекрасном и вечном! Как можно было соединить их? Сияло небо, светило солнце, всё было в зелени, яркой, счастливой под набегавшим ветром. Мать роняла молчаливые слёзы, и по-детски громко, безудержно плакала Эмма.

Несмотря на всю обстановку подозрительности и страха, на то, что кругом были враги и шпионы, всё ещё оставались солнце и небо, трава, деревья, оставались дом и дружба, весь круг близких и дорогих людей. А если тебе к тому же каких-нибудь пять или семь лет и когда у тебя есть всё, какие мировые проблемы могут испортить жизнь?

Я оставался предоставленным самому себе в мире, где большую часть времени всем было не до меня. Жизнь эта казалась скучной, неинтересной, томила однообразием и одиночеством. Всё это были одни и те же двор, сад, огород, и всё я оставался один, сам с собой. Потому, когда происходили пусть даже ничтожные события, они оживляли такие дни. Событием было чтение взятой в библиотеке книги, покупка новой, обычно грошовой, книжки, коробочки цветных карандашей, интересная радиопередача, приход Эммы с родителями или наше посещение их дома.

Вот бабушка варит в саду вишнёвое варенье – на костерке, в латунном тазу, поставленном на два кирпича. Мы с Эммой стоим рядом и ждём, когда она соберёт для нас вкусные пенки деревянной ложкой на длинном черенке. Или мы с бабушкой отправляемся в поле, где пасётся стадо, чтобы подоить Сондру. Бабушка несёт ведро, мы идём в конец улицы и оказываемся за городом, на природе. Солнце палит, оно в зените, небо безоблачно. По сторонам дороги высокие, редко посаженные ели, источающие под зноем смолистый аромат. Стадо пасётся недалеко, нас встречает Василь, весь в сознании своей профессиональной ответственности. Он о чём-то говорит с бабушкой, для меня сейчас у него нет времени. Бабушка доит Сондру, получается полное ведро молока, и мы отправляемся в обратный путь. На улице мы проходим мимо большого двухэтажного дома. Он стоит на пригорке, за высоким забором. Это коммуна, подобная той, какую описал Макаренко. На крыше – трое коммунцев. Одного спустили с крыши вниз головой, двое других держат его за штаны. Висящий орёт благим матом, приятели хохочут. Глядя на это, бабушка сокрушается, но что можно сделать?

Однажды возле нашего дома милиционер и красноармеец ловили сбежавшего коммунца. Стриженный под ноль, в синей рубашке и зелёных штанах, видимо, специальной одежде для коммунцев, прижатый к забору, он искал глазами, куда бы юркнуть, но бежать было некуда, он был пойман. Милиционер скрутил его, взвалил, как мешок с картошкой, на телегу проезжавшего колхозника, и повёз в сторону коммуны.

В цирке, куда ходили мы с бабушкой, показывали поезд, пассажирами которого были разные звери: обезьянки, собачки, зайцы. А в кукольном театре я смотрел спектакль, где вместе с куклами на большой сцене с чудесными декорациями существовал настоящий, живой Иван. Спектакль назывался «Большой Иван».

По нашей улице, в противоположной стороне от парка, за углом, находился небольшой базар. Бабушка делала там необходимые покупки и часто брала меня с собой. Там было много интересного, мне нравился этот живой цветистый мир. Тут продавались горы разнообразной глиняной посуды, также чугуны, сковороды, топоры и пилы, грабли, лопаты и рядом ярко раскрашенные глиняные игрушки: зайцы, собаки, свистки в виде петушков и птичек; а ещё вырезанные из дерева молотобойцы, медведи, старики и старухи; изделия из цветной бумаги; «морские жители», дудки, трещотки. На прилавках горки красных раков, разноцветные конфеты в виде круглых шаров и длинных палочек, соблазнительные штуки из мака с мёдом. В конце базара находился большой чан с керосином. Здесь всегда стояла очередь желающих получить его, ибо в каждом доме был примус, которым пользовались, чтобы не всякий раз топить печь или плиту.

На улице возле базара перед зданием почтамта на асфальтированной площадке мальчишки устраивали катанье на самокатах, гремевших подшипниками, которые использовались для них.

Помнится ещё, как бабушка вырвала мне зуб, который шатался и очень мешал. Она привязала крепкую суровую нитку одним концом к моему зубу, другим – к дверной ручке, вынула из плиты, которая в это время топилась, тлеющую головешку, одной рукой придержала дверь, а другой сунула мне к лицу головешку. Я отшатнулся – и зуб вылетел.

Иногда в выходной день мать отправлялась в город сделать какие-то покупки, и я упрашивал её взять меня с собой. Мы доходили до театра, до центрального парка, откуда с высокой кручи открывался вид на Днепр и Заднепровье. Парк, более интересный и красивый, чем тот, возле которого жили мы, площадь, окружённая большими домами, театр, много людей на улицах, – это давало новые впечатления, обогащало понятиями другой жизни.

В городе было много интересного. Мы заходили и в книжный магазин, и мать покупала там что-нибудь мне. Назад я уже еле плёлся от усталости, отставал, но в следующий раз опять упрашивал взять меня с собой.

В солнечный летний день железнодорожники организовали маёвку с выездом народа в живописную местность, на берег Днепра – с буфетами, с музыкой духовых оркестров, с выступлениями артистов. Взяли и нас с Эммой. Праздник получился замечательно незабываемый – среди чудесной природы.

Мне было пять лет, когда я увидел во сне, будто в наш дом с высокого крыльца ломится волк, тот самый, от которого ускользнули три поросёнка. Вскоре после этого я заболел. Я не мог держать голову естественным образом и стал носить её на руке. Мне начали сниться кошмары. Я стал кричать по ночам, а проснувшись утром, укрытый с головой одеялом, не мог пошевелить руками, чтобы, отодвинув его, избавиться от духоты. Выход вскоре нашёлся: я догадался стаскивать одеяло ногами, а немного полежав, снова обретал способность двигать руками.

Мать стала показывать меня врачам, и они лечили меня каждый на свой лад. Показали меня и местным профессорам, сделали рентгеновский снимок, но и на нём не увидели, в чём дело. Бабушка привела знахарку, она совершила надо мной таинственные манипуляции со свечами и невероятно толстой книгой, раскрыв которую, кропя меня водой, бормотала свои заклинания. Не помогло и это. Мать повезла меня в Минск. Там мы попали на приём к профессору Найману, позже, уже после войны, оболганному и уничтоженному бериевцами.

Я уже не мог идти сам, по многолюдной минской улице мать несла меня на руках. Я был тяжёлый, мне было пять с половиной лет. Мать выбивалась из сил. Был осенний месяц, наверное, октябрь, день солнечный, но прохладный. При переходе через пересекавшую улицу

с головы у матери ветром сорвало берет, швырнув его под колёса проезжавшей «эмки». Один из прохожих, военный, бросился за беретом и выхватил его из-под самого колеса.

В гостинице с какого-то высокого этажа – так высоко я ещё не был никогда – я видел, как далеко вниз ушла земля, какими маленькими там казались люди. Оставив меня в номере одного, мать уходила хлопотать о врачебном приёме.

Игрушки, которые были со мной, мало развлекали меня, я лежал в постели, долгие часы меня окружали одиночество, тишина.

Профессор, глянув на снимок, сделанный в Могилёве, тотчас поставил диагноз: ушиб шейного позвонка. Было предложено два лечебных варианта: гипсовая коробка, охватывающая голову и туловище, включая ягодицы, или специальный жёсткий неснимаемый воротник. Я выбрал гипсовую коробку; воротник, который закуёт мне шею, пугал меня. Профессор сказал матери:

– Мужайтесь, будет ли лечебный эффект, неизвестно. В положительном случае в гипсе придётся провести, может быть, лет пять.

Профессор был невысокого роста, подвижный как колобок, с головой, полностью свободной от волос, напоминавший этим «доктора», который лечил меня «микстуркой» и «порошками».

В назначенный день меня раздели догола, положили на холодном медицинском столе лицом вниз, и группа студентов, изучавших процедуру под руководством профессора, обступила стол, и каждый хотя бы один палец положил на меня, а на тело и голову стали накладывать влажные и холодные, пропитанные гипсом куски марли – несколько слоёв. От страха, а больше от стыдливости я кричал на всю клинику.

Меньше чем через год мать снова привезла меня к профессору. Я был уже на ногах. Осмотрев меня, профессор сказал:

– Вы счастливая мать, он вполне здоров.

Долгие восемь месяцев пролежал я в гипсовой коробке. Иногда заходили тётя Варя и Эмма, но не задерживались. Взрослые, как всегда, были озабочены своими делами. В комнате, кроме меня, в своей кровати барахтался Игорь, родившийся в то время, когда я заболел. Он был занят погремушкой, резиновым утёнком и был почти беззвучный ребёнок. Особенного ухода за мной не требовалось, потому что целые дни я оставался один.

Вечером с работы приходила мать, что-то делала для Игоря, для меня, иногда ходила в кино с тётей Варей и дядей Генной, которые всегда брали с собой и Эмму, и когда возвращалась, подсаживалась ко мне, рассказывала содержание фильма, что-нибудь ещё, а часто и читала вслух.

Мне давали книги, карандаши, бумагу – я читал или рисовал, положив бумагу на кусок фанеры. И когда уставал, думал о той жизни, которая протекала за стенами дома и была недоступна мне.

Прошла осень, прошли Новый Год, ёлка, зима, прошла и весна. Стало тепло, зазеленела трава. В саду расстилали рядна, меня выносили из дома, клали на него, оставляя так на весь день. Позже ко мне приносили Игоря, который уже начинал подниматься на ноги. Возле нас ставили какой-то ящик, и он, держась за его край, вставал, пробовал ходить.

Долгие дни эти со мной были только сад с тяжелеющими плодами на ветках, небо и солнце. Рядом, словно маленькие подобию его, цвели одуванчики, на них летели шмель и пчела. Заходившая ненадолго Эмма садилась на край рядна, сплетала из них венки, но вскоре уходила. Оставаясь один, целыми часами я смотрел в эту лазурь и думал... О чём?.. О чём можно думать в шесть лет?

К лету я начал тайком подниматься на ноги вместе со своей коробкой, привязанной ко мне бинтами, и пережил неожиданные ощущения: земля, которая долгое время оставалась у

моих глаз, вдруг ушла страшно далеко вниз. У меня закружилась голова, я должен был вновь учиться ходить.

В следующем году меня отправили в туберкулёзный санаторий. В туберкулёзный потому, наверное, что предполагалась возможность возникновения этой болезни из-за ушиба позвоночника, на самом деле просто потому, что нужной путёвки не было. Та путёвка, которая по показаниям подходила мне, досталась другому ребёнку.

До места назначения меня сопровождала чужая женщина. В незнакомом городе, куда мы прибыли поездом, за нами приехала «эмка». Она развернулась на площади перед красивым зданием с овальным фасадом и колоннами по нему и выехала за город. В пути женщина и водитель оживлённо беседовали. Предоставленный самому себе на заднем сиденье, я впервые ехал в легковом автомобиле.

Небольшое светлое здание санатория, кажется, в два этажа, несколько других строений, видимо, хозяйственных, стоявших рядом, находились посреди соснового бора. Я оказался в группе детей такого же возраста. Там всё было как в детском саду – большая комната с игрушками, спальня, где стояли наши кровати, столовая. Распорядок был тоже детсадовский. Лечение – исключительно целебным воздухом бора. Время, незанятое приёмом пищи, послеобеденным сном, играми в комнате, проходило в лесу.

Но всё здесь вызывало во мне отторжение. У меня не было близости ни с кем из детей, всё было постылым и чуждым, лишённым тепла. Я чувствовал вокруг пустоту. Ночью, когда все спали, я думал о доме, вспоминая умершего братика, плакал. Долгие годы потом слово «санаторий» вызывало во мне чувство нерадостного, чуждого. А в памяти остались образы величавых деревьев, бора. Задумчивый шёпот, которым они обменивались друг с другом в вышине, дурманящий запах папоротников, густо разросшихся под ними, живо и ярко вспоминаются и теперь.

Одним из воспитателей и обслуживающих работников санатория был молодой мужчина, много времени проводивший с нами. Он вырезал для нас из толстой сосновой коры замечательные лодочки и кораблики. На них устанавливались бумажный парус и руль, и они красиво плавали в большой луже перед санаторием. Это мало развлекало меня. Даже когда воспитательница, расположившись на поляне среди окружавших её детей, читала интересную книжку, я оставался в стороне, погружённый в своё.

Была там девочка, которая не росла. Считали, что воздух соснового бора поможет ей. Она была постарше остальных, но такого же роста, как и другие дети. И тоже держалась отдельно, была молчалива, печальна.

В комнате для игр висела картина, изображавшая море, далёкий в нём парус и на берегу женщину и мальчика, машущих ему рукой. Я никогда не видел моря, оно представлялось мне влекуще прекрасным. А парус? Одинокий? Я уже знал эти стихи. В них заключалась тайна. Оставшиеся на берегу не могут изменить судьбы, а море всё дальше и дальше уносит надежду и счастье... Я всё ещё помню эту картину...

Я опять был у себя во дворе и в саду.

Вдруг я стал находить возле дома, в траве, ключи – отдельные и целыми связками. Откуда? Что это были за ключи? Возможно, среди них был и тот, волшебный, который откроет таинственную дверцу? Но, значит, и она тоже где-то здесь, близко? Я обследовал весь большой сарай и все уголки в саду, во дворе, в доме, но волшебной дверцы не было нигде. Я мечтал о чудесных приключениях, о Буратино и девочке с голубыми волосами. Я знал – они совсем близко. Ах, как хотелось оказаться в стране, где жили они! А эти двор и сад? Они были скучны, неинтересны, здесь всё было известно до последней травинки. И каждый день всё то же, одно и то же – солнце, деревья, небо, трава. И всё время один. Эмма готовилась поступать в школу, у неё были новые подруги. Игорь был ещё слишком мал.

Приближалась новая осень. К нам пришли соседи, которые жили в красивом домике через дорогу. Это были мать и дочь, девочка моих лет. Девочка была хорошенькая, желтоволосая, с красивыми карими глазами, Женя. В то время как бабушка и мать Жени обсуждали что-то, я показал ей свои рисунки, книжки. Она не выказала интереса ни к тому, ни к другому, а мне хотелось подружиться с ней.

Вскоре я побывал в доме этих, желанных для меня, соседей. В большой полусумрачной комнате, освещённой лампой под оранжевым абажуром, – дом окружали тенистые деревья, – за столом, стоявшим посреди комнаты, мать Жени что-то шила на машинке. В углу, возле окна стояла детская кроватка с ковриком над нею, с вышитыми на нём жёлтенькими утятами. Но сближения между нами опять не получилось.

Каждый день, засыпая и просыпаясь, я думал о ней. Мне хотелось, чтобы мы были вместе – вместе играть! Нам было бы хорошо. Она была такая нежная, такая красивая.

Они пришли снова, и бабушка опять что-то обсуждала с матерью Жени. Мы были во дворе. Было солнечно – так славно и так чудесно. Я опять не знал, чем её заинтересовать, а она оставалась странно неприступной.

– Хочешь, пойдём в сад, сорвём яблок? – сказал я, не придумав ничего другого. Я готов был для неё на всё. Но она горделиво повела плечиками, посмотрев равнодушно, свысока:

– Подумаешь! Задаётся своими яблоками! Задавака!

Стояли дни ранней осени. Солнце уже не жгло, не томило. Берёзы в парке, тополя вдоль улицы грустили о том, что прошло. В тихой задумчивости был старый сад... И она ушла... Мы жили так близко, но больше я никогда не видел её...

Последние события и последние воспоминания всей той жизни относятся к сорок первому году. Я уже был школьник. Утром двадцать третьего июня я приехал из пионерского лагеря и увидел, как в городе невероятно и поразительно всё переменялось. Станция, примыкавшие к ней площадь и улица, тихие и малолюдные в прежнее время, были теперь, словно растревоженный муравейник. Множество людей сновало здесь, не замечая ничего вокруг себя.

Дома была только бабушка. Мужчины находились неотлучно у себя на работе. Игорь был в детском саду и там оставался на ночь. Мать возвращалась из дома отдыха тем же поездом, каким ехал и я. Узнав об этом как-то в пути, разыскивала меня на перроне, в то время как я был уже дома.

Едва я переступил порог, по радио была объявлена воздушная тревога. Со станции зазвучали частые гудки паровозов. Бабушка велела мне идти в сад, сама же оставалась у плиты. Тут же появилась и мать.

В саду ещё продолжалась многообразно чарующая, мирная жизнь. В задумчивости, в тишине стояли деревья. Сияло небо, сверкало солнце. С безмерной щедростью они одаривали землю своей благодатью. Им не было дела до человеческих безумств.

Для укрытия во время ожидаемой бомбёжки дедушка уже выкопал глубокую яму. Как и всё, что он делал, яма была сделана аккуратно, старательно – совершенно круглая, диаметром метра два, с ровным, утрамбованным дном, со ступеньками для схода и выхода, с тщательно выровненным бруствером из вынутой земли. Трава уже была скошена, по саду шёл запах сена. Я сел на краю ямы, не спускаясь в неё. В небе, высоко-высоко, летел вражеский самолёт. Далёкий, таивший угрозу звук его моторов был слышен в саду.

В парке группа людей в штатском задержала некоего человека. В то время как там проверяли содержимое небольшого его чемодана и, кажется, что-то нашли, в сад неожиданно вбежал высокий мужчина, заросший чёрной недельной щетиной. Он явно спасался бегством. Не обращая внимания на меня, пугливо озираясь, увидев то, что происходило в парке, выскочил из сада и скрылся со двора.

Минуты через три в сад вбежали двое чекистов с пистолетами в руках, спросили, не забегал ли кто. Я ответил, но куда дальше побежал тот человек, не мог показать – из сада этого не было видно.

День был роскошный, радостный – последние мгновения, которые я провёл в этом саду, последние минуты той жизни, того далёкого, невозвратного, которое казалось тогда бесконечно скучным и так томило...

Воспоминания эти означают возвращение на пепелище. И дом, и сад, и все, кто там жили, – их давно уже нет. Во время оккупации из всей родни в городе оставалась только бабушка. Она не могла бросить дом и своё хозяйство, приглядывала ещё и за домиком Эммы. По своей неискоренимой потребности она приютила у себя нуждавшегося человека, который вскоре выгнал её, присвоив себе и дом, и всё имущество. Искать защиты было негде и не у кого.

После войны, последние годы жизни, бабушка бедствовала. Мы жили в другом городе. В последних письмах она писала: «... в жизни своей я много переплакала, но судьба уж, верно, моя такая, что мне до гробовой доски придётся плакать, ну да что поделаешь – так, наверное, нужно...»

Дедушка, как только началась война, потребовал, чтобы ему дали магистральный паровоз. Ему было за семьдесят, и он уже давно не водил поездов. Было проведено медицинское освидетельствование, и оно показало, что дедушка по всем показателям здоров. Устроили проверку технических знаний, и опять дедушка поразил членов комиссии, без запинки ответив на все вопросы. Ему дали паровоз. Однако у него оставался всё тот же недостаток: он засыпал, чуть ли не стоя. Потому вскоре его перевели на маневровый паровоз, потом сделали начальником угольных маршрутов. Он получал уголь в Кузбассе и Караганде, а в конце сорок третьего года работал уже ночным сторожем водокачки на станции Унеча. Однажды его нашли мёртвым на далёком расстоянии от охраняемого объекта. Причина смерти не была установлена. Телесных повреждений не было, кроме небольшого синяка возле виска...

Бабушка лежит на том же Карабановском кладбище, где похоронен мой маленький братик, и тоже в безымянной могиле. Дом сгорел в последние дни оккупации, при бомбёжке. Сгорел сарай, исчез забор, от сада остались уродливые обрубки без ветвей и листьев. Думаю, сейчас уже нет и их. На месте старого доброго дома построен другой – небольшой двухэтажный, примитивной послевоенной архитектуры. Роскошный двор и всё пространство сада вытоптаны, здесь уже ничего не растёт. Мне жаль старый дом. Долгими днями детства, когда я жил с ним, я не думал о нём. Только теперь пришло осознание того, почему там легко и хорошо было жить. Раньше в доме жили другие люди – те, кто построили его. Это была простая и добрая жизнь. Те люди, приносили сюда свои заботы, думы, страдания, здесь они работали, отдыхали и здесь любили. Они ушли не по своей воле, а дом хранил молчаливую память о них. Теплом, которое оставили они, доброй памятью этой он согревал и нас. И значит, вместе с ним сгорела память и о тех людях, и о нас тоже...

Нет и того домика, где жила Эмма. Из всех нас она одна остаётся жить в Могилёве. А мать, отец, тётя Варя, дядя Гена, дядя Коля? Их тоже давно нет. Они умерли каждый в свой срок и покоятся в разных местах, далеко друг от друга.

Иногда вспоминаю и ту желтоволосую девочку. Что случилось с ней? Осталась ли жива после войны? Как сложилась её жизнь? И много ли получила она от неё, такая красивая и такая гордая?

А я? Я живу далеко, в доме, где много подъездов и много квартир. Тесный двор заставлен машинами, мусорными баками, загажен собаками, время от времени нападающими на людей, – они считают, что территория принадлежит им. Солнце почти не заглядывает в наши окна – их загораживают такие же высокие дома, небо чаще всего почему-то покрыто тучами. Три наши комнаты составляют меньшую площадь, чем та одна, в которой мы жили тогда. В комнатах даже в солнечные дни – полумрак. На улице приходится быть настороже: могут встретиться граби-

тели, наркоманы, сумасшедшие, всевозможные мошенники, «подростки», которым скучно и надо развлечься. Зато в доме есть удобства.

Проходят годы, забываются чёрные дни и чёрные дела. Белый снег успокаивает чувства. А те, кто идут по нашим следам, скажут: «Да не было этого ничего!» А может, и просто ничего не скажут – промолчат, отвернутся, обратятся к своим заботам. Да и в самом деле, кому нужны то дерево и та трава, которые росли где-то там, семьдесят-восемьдесят лет назад? Разве тому только, кто тогда, давным-давно, полный наивных надежд и фантазий, лежал на этой траве под этим деревом и смотрел в небо... И часто на память приходит любимая дедушкина поговорка: кто старого не видал, тот и новому рад.

Голос издалека

Я ещё не был школьником, но знал уже о пионерах и пионерских лагерях, мечтал и бредил ими. Жить в лесу, на берегу реки... палатки, костры, походы с горнистом и барабанщиком – могло ли что-либо сравниться с этим счастьем? И вот оно сбылось – мне досталась заветная путёвка, после первого класса я оказался в пионерском лагере.

Начальником лагеря был человек немолодой и неприметный. В лагере его видели редко. Никакими заметными действиями, личным участием в жизни лагеря он не заявил о себе. Запомнился только тем, что одет был в том стиле, которому следовало тогда большое начальство, руководители государства, вожди. Полувоенный френч с отложным воротником, застёгнутый на все пуговицы, фуражка военного покроя с матерчатым козырьком подчёркивали сходство с человеком немаленьким, может быть, даже указывали на личную преданность.

Всеми делами в лагере руководил старший пионервожатый – лет тридцати или побольше, высокий, коротко стриженный, черноволосый, несмотря на молодость не имевший, кажется, ни одного природного зуба. Улыбка его сияла сплошным золотом. Золото было, видимо, различной пробы, потому зубы имели разный оттенок. Был он энергичный, спортивный, голос имел командирский, громкий, лагерем руководил решительно и строго. Вид вместе с тем имел весёлый, но улыбка не давала повода надеяться на снисхождение.

Жили мы в больших и добротных деревянных бараках, совсем ещё новых, в комнате четверо или пятеро из одного отряда. Мы сразу подружились, и у нас завёлся обычай перед сном рассказывать сказки. Сначала рассказывали все по очереди. Но вскоре выявился лучший рассказчик – деревенский парнишка, настоящий мужичок, серьёзный и самостоятельный, – веснушчатый, с выгоревшими добела волосами, в одеждах домашнего деревенского производства. Фантазия из него была ключом. После того как все остальные выговорились, он стал бессменным рассказчиком историй, в которых действовали волшебники, разбойники, в то же время танки, самолёты, конница, Красная армия и всё, что только могло родиться в его голове. Мы все уважали нашего товарища, признавали в нём личность.

День начинался с побудки, которую трубил горнист. Потом были: утренний туалет, линейка. После завтрака поход из лагеря в интересные места с какими-нибудь занятиями, играми. Возвращались к обеду, после которого наступал мёртвый час. Потом были: полдник, снова занятия, развлечения, для чего имелись спортивные и прочие устройства и приспособления. Была и библиотека. После ужина горнист трубил отбой, и лагерь затихал до утра.

В центре лагеря стояла трибуна, перед которой на спланированной площадке выстраивались отряды на утреннюю и вечернюю поверки. На мачту перед трибуной поднимался флаг. На вечерней линейке с трибуны начальник лагеря и старший пионервожатый принимали рапорт дежурного. Отсюда зачитывались приказы, распоряжения, объявлялись благодарности и выговоры, сообщалось об исключении из лагеря провинившихся. Тут же объявлялось о назначениях для разных работ на следующий день. В одном из таких приказов был поименован и я. Мне было определено помогать на кухне, куда я и явился на другой день после полуденного отбоя.

Кухня находилась в отдельном бараке. Там стояли огромные котлы, в которых что-нибудь варилось, было множество кастрюль, баков, всякой другой посуды и много женщин в белых поварских одеждах. Они были заняты каждая своим делом, в мою сторону никто даже не посмотрел. Тогда я сам обратился к поварихе, которая была ближе других, объяснив, для чего я пришёл. Не отрываясь от работы, чуть глянув на меня, женщина, у которой на душе может быть были какие-то непростые думы, сказала:

– Какая уж от вас помощь, иди лучше погуляй.

Не заставив уговаривать себя, однако понимая, что полученное таким образом освобождение вовсе не оправдывало меня перед начальством, потому таясь, словно лазутчик, я выскользнул из лагеря и первый раз в жизни совсем один оказался в лесном зелёном царстве, раскрывшемся передо мной.

Весь в игре солнечных и воздушных скольжений, лес был полон шумов и звуков, близких и отдалённых. Пробиваясь сквозь движущееся сплетение ветвей и листьев, с полудня на тропу падали отвесные лучи. Пронизывая игольчатые вершины сосен, теряясь среди тяжёлых еловых лап, они наполняли лесное пространство благостным дыханием лета, запахами разогретой ими растительности, самой земли.

На открытых местах ярко зеленели бархатные мхи, золотыми солнышками светились лютики, на высокой ножке колебались ромашки, в траве прятались колокольчики, другие цветы, над ними гудели пчёлы, шмели, порхали нарядные бабочки, ползали жучки, божьи коровки. Вершинами леса, то ширясь, то затихая, тянулся протяжный шум. С разных сторон звенели птичьи голоса. В небе проходили редкие облака. Вдали куковала кукушка.

Заросли вереска шуршали под ногами. С холма открылись далёкие дали. Снова и снова шёл, затихая, осторожный, вкрадчивый шёпот. Эти вздохи, волнения кущ, высоких трав, перебегающий по ним ветерок, птичий пересвист, смутные звуки из неведомых отдалений бора, – чем были они для того, кто впервые оказался среди них, они, которыми означила себя живая душа природы? Никогда в том мире, откуда я пришёл, где жил и куда должен вернуться, не было так много счастья и столько покоя... таинственного многоголосья и многое значащей тишины. И этот зов – далёкий, тоскующий об иной судьбе... Их невозможно было понять, объяснить. Хотелось только, чтобы они были всегда...

Но счастье – только короткий миг. И если в жизни случались такие мгновения, то самые яркие из них и самые памятные, конечно, – те, тогда, в тот далёкий, незабываемый, никогда, ни в каком подобии не повторившийся день...

Минуты шли, проходили, и нужно было возвращаться.

Выход из леса, конечно, должен был остаться незамеченным. Достигнув опушки, за которой начинался лагерь, затаившись, я стал ожидать, когда горнист протрубит подъём.

Между тем я был уже не один. Ко мне присоединились девочка постарше и мальчик, которые, как и я, гуляли в лесу и тоже выжидали момент, чтобы незаметно вернуться в лагерь.

В лагере, однако, происходило что-то непонятное. Трубы горниста не было слышно, подъёма ещё не было, однако по территории уже пробегали то один, то другой, то несколько человек, а со стороны барака, где жили девчонки, стал доноситься всё громче какой-то странный шум. Подождав минуту-другую, увидев, что движение в лагере необъяснимо возрастает, мы перебежали к бараку, откуда слышался тот непонятый звук.

У порога большой комнаты нам открылось невероятное. Девчонки, которые здесь жили, все сразу не просто плакали, но прямо-таки голосили, заламывая руки, чуть ли не рвали на себе волосы. Мы остолбенели, никто ничего не мог объяснить, и сразу из многих уст одно и то же:

– Если бы вы знали!.. Если бы ваш отец!.. Если бы у вас был брат!..

Неожиданно по лагерю разнеслось: «Все – на митинг!»

И всё население лагеря со всех его концов бросилось к трибуне, на которой стояли: начальник, старший пионервожатый, кто-то ещё. После продолжительной паузы, за время которой собравшиеся поутихли, подбирая слова, с трудом, начальник объявил:

– Сегодня... на рассвете... на нашу родину, на Советский Союз, напала Германия... началась война...

Столь ужасное известие это поразило каждого, несколько секунд все оцепенело молчали. Начальник добавил, что лагерь немедленно закрывается и все должны отправиться по домам.

Поднялась суматоха, началось настоящее светопреставление. Все бросились сдавать какое-то имущество, постельные принадлежности, получать вещи из камеры хранения. Я побе-

жал сдавать библиотечную книгу, забрать свой чемодан. Все быстро покидали лагерь. Прошел всего час-полтора – и он опустел. Во всём лагере из обслуживающих работников осталось, может быть, два-три человека, которых даже не было видно, а из детей – двое: я и ещё один мальчишка, мой земляк, с которым у меня почему-то не было никаких отношений, а была даже какая-то враждебность.

Роковые события не сблизили меня с моим антиподом. Он оставался где-то в другом месте, я его не видел. Было известно только, что за ним выезжает тётя, которая заберёт и меня. Моя мать в это время была в доме отдыха.

Странно, жутковато было это – так внезапно остаться в полном одиночестве в большом, только что шумном, многонаселённом городке.

Потянулись томительные часы неизвестности, ожидания. Своего приятеля по несчастью я не видел. Из работников лагеря кто-то появлялся на минуту и снова исчезал. Со своим чемоданом я сидел на крыльце одного из барачков.

Утекал, уходил, чтобы никогда не повториться, золотой этот день.

Суровые ели подступали к барачку, к моему крыльцу. Окружавшие лагерь леса простирались до горизонта, оставляя перед собой пространную пустошь, образованную песками, покрытую редким мелкоколесьем, скудными травами. По мере того как солнце продвигалось всё дальше на запад, свет и тени изменяли картину природы. Она окрашивалась тонами безмятежной задумчивости, мирного успокоенья. Остывающее небо обретало всё больше голубизны. Осиянное вечерним золотом, оно дарило земле надмирную нежность, любовь, вспыхнув напоследок огненным закатом. Постепенно угас и он. Наступила ночь, тревожная и таинственная в своей тишине. Чёрное небо засверкало *алмазами*. Шли, исчезая в вечности, часы и минуты незабываемого, редкого счастья, которое осталось там навсегда...

Долгожданная тётя приехала глубокой ночью. Сон разморил меня. Уже не помню, как мы покинули лагерь, как добрались до железной дороги, как сели в вагон...

Прошли и канули в лету за годами годы, а в памяти остаются видения дня, может быть, самого чудесного, самого яркого из всех, что были, и голос кукушки – одинокий, печальный, вещавший о том, что будет, что ещё впереди. Кажется, он всё ещё доносится издалека...

Остановка в пути

На каникулах девочка гостила у бабушки и на неё опрокинулась кастрюля с кипятком, когда она помогала на кухне. Её обварило так, что вся передняя часть тела – грудь, живот, руки и ноги – покрылась ужасными струпьями.

На девочке не было никакой одежды, даже самая лёгкая была ей непереносима. Она была укрыта простынёй, из-под которой иногда показывалась кровавая слизь в трещинах струпьев.

Девочке было девять или десять лет. Мать и тётя переносили её медицинскими носилками. Она лежала на спине, иногда произносила какое-то слово, страдающий голос был чуть слышен. Простыня оставляла открытыми страдальческое лицо, локоны золотистых волос. Голубые глаза время от времени покрывались слезой. Склоняясь над ней, мать утирала их платочком.

С ними были другие дети: две девочки и мальчик меньшего возраста, молчаливые и серьёзные возле большой сестры. Носилки стояли у стенки вагона.

Ошеломлённые, подавленные ужасными событиями, думой о том, что будет, люди молчали. В вагоне были только женщины и дети.

Мы выезжали в пригородную местность на три дня, на время предполагаемых бомбёжек, как было объявлено властями. Было двадцать четвёртое июня, шёл третий день войны.

Жизнь переменялась мгновенно и катастрофически. Утром мать побежала на работу и уже через какой-нибудь час вернулась – так же, бегом, объявив с порога о нашем отъезде.

Сборы были недолгими. Вещей брать с собой не разрешалось – выезжали ведь на три дня. Взяли только в маленьком чемоданчике одеяльце, подушечку, кое-что из одежды – всё для четырёхлетнего братишки.

Дома оставалась только бабушка. Мужчины – отец, дедушка, дядя – находились при исполнении служебных обязанностей, не приходили на ночь, не показывались и днём.

Дом находился рядом с вокзальной площадью. Пустынная прежде, она превратилась в человеческий муравейник. Люди метались, спешили, сновали, натываясь друг на друга, не замечая ничего вокруг себя. Поезда отходили через каждые два часа – с теми, кто ещё не знали, что они уже беженцы, а вскоре будут названы ещё незнакомым словом: эвакуированные.

В сопровождении бабушки мы прошли через площадь, по перрону, забитому народом, вышли к поезду, забрались в один из вагонов, где ещё можно было расположиться рядом с другими людьми.

На перроне царил смятение отъезда и расставанья. Он весь был заполнен волнующейся толпой. Происходили сцены, в которых изливалось неподдельное горе. Кто-то плакал, кто-то кого-то звал, торопясь, говорили что-то важное, давали советы, напутствия. Всё покрывалось разноголосицей общей неразберихи. Некоторые, кто уже находились в вагоне и те, кто пришли проститься с ними, молчали, потому что всё уже было сказано, и только, роняя слезу, смотрели друг другу в глаза.

Бабушка оставалась в фартуке и платочке, как она была на кухне. Истекали последние минуты, когда мы были вместе. Вдруг вспомнили: не взяли хлеб! Без хлеба ехать было нельзя. Я бросился домой – сквозь толпу, через перрон, через площадь.

Двор, крыльцо, кухня... За порогом открылась тишина покинутого дома... В окна било полуденное солнце. От плиты тянуло теплом, пахло обедом. Бабушкины ухваты и сковородники стояли на обычном месте, на столе – забытый хлеб... Минька подошёл, сел против меня и долго смотрел мне в глаза. Бедный Минька, он всё понимал...

В то время, как я с буханкой в руках бежал к поезду, над площадью, на высоте совсем небольшой, разгорелся яростный бой полутора или двух десятков наших и немецких истребителей. В смертельном клубке самолёты гонялись друг за другом. Над площадью стояли рёв

моторов и треск пулемётов. В муравейнике никто не обращал на это внимания. Один я остановился, замороженный зрелищем воздушной схватки – пропустить такое было невозможно.

Поезд, конечно, ушёл бы без меня, если бы не бабушка, внезапно возникшая передо мной:

– Ты что, хочешь остаться?

Мы побежали, и как только с помощью бабушки и матери я забрался в наш пульман, состав тронулся. Вдоль вагонов пронёсся будто задавленный стон. Толпа двинулась за поездом. Он шёл медленно, давая возможность сказать последнее слово, бросить последний взгляд. Утирая слезу, бабушка смотрела скорбными, много выдавшими глазами. Она-то знала, что это не на три дня...

Поезд шёл, то убыстряясь, то замедляя ход, иногда почему-то останавливаясь, простаивая среди цветущей природы. День был роскошно великолепный. Я сидел в проёме пульмановского затвора, спустив ноги из вагона наружу. Я должен был видеть всё.

При остановках многие выбегали к берёзам и кустам, которые росли возле дороги, ломали большие ветки, прикрепляли их потом к стенкам вагонов, весь поезд зазеленел от них.

Ехали долго. Пригородные места, где можно было переждать бомбёжки, давно миновали. Тогда некоторые из женщин стали совещаться о том, куда мы едем, зачем, где будет остановка. Одна из совещавшихся – толстая, энергичная, с мясистым лицом и чёрными волосами, с голосом твёрдым, мужеподобным, с манерой говорить уверенно, веско, стала убеждать не бросаться так вот вдруг, безоглядно, сойти на ближайшей станции, разузнать все обстоятельства, после чего станет видно, как быть дальше. Она же и взялась сделать необходимую разведку. И мы сошли у разъезда Оселье, оказавшегося совершенной глухоманью.

Кругом стояли леса, отступая лишь у самого разъезда, оставив перед ним обширную луговину, густо поросшую по всему пространству цветистыми травами. День заканчивался. Мирная тишина простиралась над краем.

Кроме путейского домика, была здесь ещё пара каких-то строений, но никого из людей – кажется, один только начальник разъезда, сочувственно и доброжелательно настроенный к нам, человек немолодой, крупный, усталый, озабоченный экстраординарными обстоятельствами, своими обязанностями, переговорами по служебному телефону.

Всего в группе оказалось человек шесть женщин и сколько-то детей. Было решено воспользоваться предложением начальника расположиться в доме, просторном, побелённом изнутри и снаружи, состоявшем из нескольких довольно больших комнат. Только что здесь жили какие-то рабочие, но уже не было никаких признаков жилого помещения – ни мебели, ни какой-либо обстановки, ни стула, ни табуретки. Пол был устлан какими-то бумагами.

До заката оставался час-полтора. Все бродили по комнатам, соображая, как расположиться на голом полу. Вещей не было ни у кого.

Внезапно над разъездом закружил самолёт. Он пролетел так низко, что было видно и лётчика в его кабине, и промелькнувшие чёрные с жёлтым кресты на крыльях, свастику на хвосте. В воздухе прозвучала раскатистая пулемётная очередь – одна, вторая. Сделав два или три круга, самолёт улетел. Настроение беженцев упало – было рискованно оставаться вблизи железной дороги.

Узкой тропинкой среди пахучих трав, уже при совсем низком солнце маленький отряд направился к лесу. Малышей несли на руках их матери. Другие дети шли попеременно со взрослыми, ту девочку несли на носилках. Братишка мой топал впереди матери, я замыкал шествие.

Лес был еловый – тёмный и хмурый.

Расположились под шатром преогромной, разлапистой ели на образовавшемся от её корней и нападавшей хвои обширном бугре, вокруг которого было сыро и даже болотисто. Полчища комаров налетели на нас. Женщины, как могли, устроили детей, постаравшись защитить их от безжалостных кровопийц, долго и потихоньку разговаривали – конечно, о войне, о дивер-

сантах, обо всём, что произошло, вспоминали тех, кто остался, покинутый дом, что-то забытое в последнюю минуту. Иногда слышался голос той девочки, мать была возле неё.

Чёрное молчание заполонило лес и округу. В лесу и, кажется, во всём мире не было уже ни звука и ничего живого, только комары ныли и ныли, не давая уснуть. Не знаю, спал ли я в эту ночь.

Утром вернулись к разъезду. Предводительница была настроена по-боевому. Начальник остановил проходящий поезд, и она уехала, пообещав вернуться как можно скорее.

Ночевать в лесу больше не пришлось. Начальник показал баню, которая находилась в сотне шагов от разъезда, за деревьями, мы перебрались в неё.

Выстроенная в недавнее время, большая и ладная баня была ещё совсем светлой древесины. Возле неё валялись груды щепы, два или три бревна. Последний раз её топили, может, неделю назад, внутри было сухо и чисто. На полу, на лавках стояли деревянные шайки. Места было достаточно. Все расположились кто как хотел. Я выбрал самую высокую полку – в парной, под потолком.

Самолёты больше не летали, а по железной дороге непрерывно шли поезда: с беженцами и грузовые – на восток; на запад – воинские эшелоны. Но это было как будто далеко, а там, где были мы, весь долгий день сверкало солнце, летали бабочки, пчёлы, ползали божьи коровки, стайками прыгали кузнечики. Ромашки, лютики, колокольчики шептались о счастье, которое будет здесь и завтра, и всегда. Скрываясь в траве, я слушал звуки природы, влетаившиеся в её тишину.

Да, это было счастье. Но ведь не одна только природа, не одно сегодня и сейчас составляют его. И то только, что в тебе самом, не может быть полным счастьем. А то, что было раньше? что прошло? чего, может, не будет уже никогда? Наш старый сад, двор и дом, все столь близкие сердцу уголки? Бабушка и дедушка, любимая сестра, тётки, дяди? Книжки, те, о которых известно всё, – каждое слово и каждая картинка, и другие – только что купленные, которые уже никогда не будут прочитаны? Всё оставалось там...

Собравшись в кружок на лужайке, мы слушали старшую девочку, которая читала вслух интересную книжку. Оказалось, был ещё один слушатель – к нам подползла на расстояние двух или трёх шагов небольшая змейка, должно быть, медянка. Она лежала на примятой траве, наверное, долго, приподняв голову и глядя на нас, будто ей были интересны мы и то, о чём говорилось в книжке. Как только кто-то из девчонок увидел её, раздался пронзительный визг, вмиг все разбежались. Кажется, это было единственное достойное упоминания приключение, которое случилось в нашем детском сообществе.

В поисках пропитания женщины посещали ближайшую деревню. С той же целью мать и я побывали в домике лесника, стоявшем в лесу, километра за три от разъезда. Он был совершенно такой, какие я видел у себя в книжке «Русские народные сказки»: кухонька, русская печь, горница – всё прибранное, опрятное, светлое. Стены штукатуренные и побелённые, светлые окошечки с горшочками герани и столетника. Иконы, подзоры, горка подушек на высокой кровати, покрытой рядом. Грустные ходики, лоскутные половички. От печи шёл запах простой крестьянской еды. И опять тишина, приходившая из лесных дебрей.

Кроткая, худенькая старушка накормила нас полным обедом. Бесшумно двигаясь, переставляя посуду, подсаживалась к столу, тихим голосом говорила доброе и печальное. Конечно, и она думала о своих родных, о том, что теперь будет. Для нас то были дни первобытной свободы – под мирным небом, среди цветущей тишины. А в это время горели города и деревни, лилась человеческая кровь...

Перед закатом женщины собирались возле бани, рассаживались на крыльце, на брёвнах, обсуждали наше положение, беспокоились из-за долгого отсутствия разведчицы. Вспоминали прошлую жизнь, родных и знакомых, думали о мужьях, о мужчинах, которые бьются с врагом. Мальчишки бродили поблизости, выискивая что-то в траве и кустах, рассматривали это,

показывали друг другу. Девочки держались возле матерей, слушая, о чём говорили они. Час наступал благостный, золотой. Та девочка тоже была здесь, на своих носилках.

Солнце клонилось ниже и ниже. Всё кругом успокаивалось. Воздух делался столь чистым и таким прозрачным, что и самые далёкие пространства рисовались чётко и ясно. И вот уже лучи брызжут от закатного неба, и горит пронизанная ими лазурь.

Тайно я следил, как девочку выносили и уносили обратно, как она проводила долгие часы на своих носилках, поставленных возле бани в светлой тени подраставших берёз. Мать и тётя не оставляли её своей заботой, возле неё были сестрички и братик. Печальным колокольчиком звучал страдающий голосок. Но бывало, она оставалась одна. Странное желание тогда возникало во мне: подойти, сказать, сделать... но что? Нет, просто посмотреть в эти глаза, изболевшие и такие красивые...

Ночью в бане стояли мрак, тишина. Мечты и фантазии уносили меня далеко. Я забывал о войне, о бабушке, которая осталась совсем одна, о доме. Я думал о девочке. Если бы она не была прикована к своим носилкам... Всё могло быть иначе, по-другому... Здесь, под небом, таким большим, необъятным мы бы читали волшебные книжки, собирали цветы и сплетали венки, и мы бы смеялись – просто так, потому что весело и всё так хорошо. Потом мы бы лежали в траве и смотрели в небо – какое оно далёкое, голубое, какие белые там облака и какие счастливые птицы. Мы весь день были бы вместе. Мы бы ушли далеко – на самый край поляны. Там мы построили бы домик из веток и трав. Мы спрятались бы в нём, нас бы искали, звали, а мы бы не отзывались, и нас никто не нашёл бы. А когда пришла бы ночь, мы бы смотрели на звёзды и рассказывали, какие они красивые и какое таинственное чёрное небо. И мы бы навсегда остались в этом краю...

Через десять дней возвратилась отважная разведчица. Голова у неё была перебинтована, но она по-прежнему была в боевом духе. Все обступили её и жадно ловили каждое слово. И она поведала неутешительные вести: немец прёт, Минск взят, в Могилёве паника, город бомбят. Не сегодня-завтра они будут и здесь. О возвращении не может быть и речи.

Собираться всем нам была одна минута – посох да сума. Добрый начальник остановил для нас проходящий состав. Так как поезд, конечно, был переполнен, в один вагон все вместе мы не могли поместиться, потому ещё до его прихода рассредоточились вдоль путей. Поезд остановился только на минуту. Паровоз шёл под парами, дрожа переполнявшей его мощью. Все оказались в разных вагонах. В один из них подали носилки, и поезд пошёл...

Наши пути разошлись навсегда. Кто были они, те, с кем мы разделили незабываемые дни? Как провели военные годы? Все ли вернулись на родину? Остались ли живы? Только об одной нашей спутнице, а именно о предводительнице, был слух, что голова у неё была ранена не при бомбёжке, а просто, пролезая под вагоном, она ударилась о буфер. Это была маленькая ложь, желание придать себе некоторый ореол. Но всё равно – это была женщина незаурядная, несомненно, с героической жилкой. Конечно, она была и под бомбёжкой, и не её вина, что ранило её не осколком. А кто из нас лишён человеческих слабостей, иногда и вполне невинных?

А девочка? Я убеждён: тот, кому пришлось в этой жизни страдать, кто был надолго отторгнут от простых отношений, тот уже навсегда не такой. И не могу забыть полные слёз глаза, дрогнувшую в них благодарность, когда, однажды, таясь от всех, я положил ей на грудь самый красивый цветок, какой только мог найти на лугу... Я знаю, почему это так. Нам хочется, чтобы и мы, когда нам будет плохо, были кому-то нужны...

Хроника минувших дней

Бегство от войны, долгое странствие наше протяжёнными путями России закончилось за Волгой, в Удмуртии, в краю, о котором мы ничего не знали, которому и сами были неизвестны и ненужны. Продолжительность переезда означала не только километры дорог, но и время – мы ехали много дней – через грады и веси, с остановками и задержками, пропуская воинские эшелоны, порой оказываясь при таких скоплениях народов, какие оставили след лишь в библейских временах – может быть, с тем же отчаянием, засевшим в мозгу беженцев: достать съестное, не потерять детей и родных, выбраться к местам, где преследующая угроза утратит смертоносную реальность.

В городе, конечно, самом лучшем для тех, кто жили в нём, мы не обрели того, что оставили дома. Крепкие, сильные люди его были суровы, немногословны. Мы говорили на том же языке, понимали друг друга, но всё было не то, не такое.

Дома обывателей скрывались за высоким, непроницаемым забором. Вдоль улиц вместо тополей и берёз росли сосны. Солнце как будто так же светило с безоблачного неба, было жарко, но и в самой природе, с той её особенностью, что зной и прохлада были постоянно близки, не было для нас дружеского привета.

Суров и немногословен был хозяин, в доме которого поселились мы вместе с нашими земляками. Собственную мать, незаметную и неслышную старушку содержал он в строгости, в полном подчинении своей воле. Была она ещё и слепая, но в доме выполняла всякую работу – мыла полы, стирала. Сам же был хмур, чёрен, бородат и, видимо, в крепкой силе. Ни жены, ни детей не было. Каков был род занятий его, мы не знали.

Просторный дом в несколько комнат с высокими потолками, нештукатуренный по бревенчатым стенам, ещё достраивался. Отведённая нам комната, где не было никакой мебели, до самого потолка была оклеена то ли афишами, то ли плакатами. Спали мы на голом полу.

Двор, огороженный крепким забором, был тщательно прибран, подметён. Конечно же, были сарай, огород.

С семьёй Романовых мы держались вместе с самого отъезда. Их было пятеро: мать, Надежда Николаевна, бабушка, трое детей, старший из которых, Олег, был моим сверстником. Надежда Николаевна, невысокая, худощавая, энергичная в том, чтобы устроиться как-то с семьёй, выглядела по-современному, но скромно – в одежде, в причёске.

Утром и мать, и она уходили искать работу. Мы с Игорем, Олег и Дима Романовы проводили время на улице. Младшая их девочка оставалась с бабушкой.

Улица, густо заросшая невысокой травой, с протоптанными пешеходными дорожками вдоль заборов, была пустынна, движения по ней не было никакого. Мальчишки и девчонки, которые жили здесь, занятые своими играми, к нам отнеслись безразлично.

Питались мы в столовой, недалеко от вокзала. Там, при большом наплыве народа, были шум, гам, толчея, торопливое возбуждение – все куда-то спешили, опаздывали. За каждым, кто уже поглощал добытый обед, стоял следующий, дожидаясь своей очереди.

Наваристый гороховый суп, которым кормили, был необыкновенно питательным и вкусным. Было ли что-нибудь на второе, не помню. Игорь, которому только что исполнилось четыре года, возымел вдруг невероятный аппетит и никак не мог наесться. Заканчивая свою порцию, он заглядывал в наши тарелки, жалобно выпрашивая добавки. Мы оставляли ему от своего, и он съедал всё подчистую.

В те дни между прочими событиями мы посмотрели спектакль «Бедность не порок». Помещение было, видимо, клубное, спектакль дневной, наверное, для детей, но это был настоящий театр, от которого осталось странное по тем дням воспоминание. Запомнились содержа-

ние пьесы, имена действующих лиц – Гордей и Любим Торцовы. Запомнилась и песня, которую пел один из персонажей:

Одна гора высока,
А другая низка.
Одна милка далека,
А другая близко.

Надежда Николаевна вскоре нашла работу по своей специальности – она была ветеринарный врач. Они перебирались на казённую квартиру.

В тот же день, утром, к дому подкатил тарантас, которым правила наша мать; мы уезжали в деревню, где она получила работу. Там же нам предстояло и жить.

Тарантас был искусно сплетённой из ивовых прутьев корзиной с сиденьями внутри неё для ездовых и для кучера – на облучке. Вещей с нами, кроме маленького чемодана, не было никаких. Мать с Игорем устроились внутри корзины, я взобрался на козлы, взял вожжи, и мы поехали.

Для меня это был опыт, о каком я не мог даже мечтать, хотя и место, на котором я восседал, и вожжи в руках имели чисто декоративное свойство. Стройная вороная лошадка, которую звали Дочка, прекрасно знала дорогу и не нуждалась ни в каком руководстве. Она была умница, но с характером, который вскоре и показала.

Было ещё только утро – на небе ни облачка, солнце, поднимаясь, припекало. Выехав из города, тарантас покатыл полями, потом через лес, потом опять полем.

В лесу, с обеих сторон к дороге надвинулись ели и пихты, мрачные и тоже какие-то чужие. Сильнее и глубже потянуло суровым очарованием этого края, чувством неведомого, равнодушного к нам.

В поле дорога пошла среди высокой ржи. Небо у горизонта опускалось к неподвижным лесам. Там оно сияло и нежилось, покрытое дымкой подступавшего зноя. Солнце обнимало раскинувшиеся просторы, по которым уходили вдаль дикая глушь, тишина. Нигде не было ни души и никаких признаков человека. Никто нам не встретился и никто нас не обогнал. Дочка трусила легонько, под колёсами тарантаса шуршали травы, среди посевов мелькали ромашки, васильки. Нам открывалось новое и чудесное, и всё острее думалось о покинутом доме.

Ехали долго. Дорога подошла к оврагу, на дне которого вдоль колеи лежало толстое бревно. Внезапно Дочка, шедшая до этого лёгкой рысцой, рванула так, что я едва удержался на козлах. Видимо, решив наказать нахального мальчишку, осмелившегося управлять ею, она повела тарантас левыми колёсами прямо на бревно. Тарантас накренился настолько, что, казалось, сейчас опрокинется. Испугавшись, я выкатился на дорогу.

Тарантас взлетел на другую сторону оврага и тотчас скрылся за стенами ржи. Обернувшись, мать едва успела что-то крикнуть, чего я не разобрал и от страха, что остался один в неведомом краю, громко заголосил.

Кричать было бесполезно, да и не нужно. Весь в слезах, выбравшись из оврага, я увидел перед собой деревню. На пологой местности находились вразброс какие-то строения, там же был домик, у крыльца которого с навесом спокойно стояла Дочка с тарантасом. Когда я подошёл, из домика вышли мужчина и женщина, а с ними мать с Игорем.

Это и было то место, где нам предстояло жить.

Деревню составляли две слободы – верхняя и нижняя. Верхняя забиралась на гору, значительно возвышаясь над прудом и речкой, протекавшей через него. Нижняя выстроилась за рекой, на равнинной стороне. А вокруг, перемежаясь, лежали поля и леса.

Всего в деревне было двадцать восемь дворов. Она была русская, однако, как и все в округе русские деревни, имела удмуртское название – Кочекшур.

Мы поселились в верхней слободе, в самом её конце, у околицы, на самом высоком месте, в избе аккуратной, чистой, имевшей традиционные горницу с кухней, русскую печь, полати, на которых мы потом спали.

Крестьянские подворья в деревне строились так, что они образовывали наглухо замкнутый порядок необходимых в хозяйстве строений. С улицы недоступный для постороннего мир замыкали высокие и широкие ворота. В ряду с воротами была и калитка, тоже глухая и прочная. Другие ворота с противоположной от улицы стороны открывались на приусадебные уголья. Подворье наших хозяев ещё не имело такой завершённости. Не было забора, ворот, открытый двор зарастал спорышем, безлепестковой ромашкой, был огорожен только пряслами, вдоль которых густо и высоко поднималась лебеда.

Хозяином нашим оказался старик лет шестидесяти или побольше, лохматый, с кудлатой бородой, ёрник, матерщинник, с бегущей мелкими шажками походкой. Хозяйка – может, чуть моложе, с пучком седых волос на затылке, плотная, в крепком теле, основательная, несуетная, пристально занятая своими хозяйством и домом. Ершистый старик внешне и характером сильно напоминал деда Каширина, каким он показан в известном кинофильме, с той разницей, что здесь он беспрекословно повиновался властной супружнице. Работал конюхом. Прибегая к обеду своими шажками, с порога начинал лепить: «Тит твою мать, тит твою мать», рассыпая одновременно позади себя: тр-тр-тр... Старуха строго останавливала его: «Стювайся!» И он подчинялся.

В день нашего приезда у хозяев гостил внук Юра, прибывший к ним из города, года на четыре старше меня – серьёзный, рассудительный, умелый. Прежде чем что-нибудь сделать, соображал, прикидывал, не торопясь, не спеша. Он тут же предложил мне пойти ловить рыбу, отыскал в лабазе подходящее удилище, достал конский волос, сплёл леску, взял грузило, крючок, поплавков, всё это приладил как надо. Для себя удочка у него уже была, и мы пошли – сначала вниз по деревне, потом влево, крутым спуском к пруду, на плотину.

Там уже сидели двое или трое таких же мальчишек. Все они знали Юру – здесь он был свой. Поздоровавшись с теми, кто оказался ближе, он выбрал место, распустил леску, насадил червяка, которых предварительно накопал на плотине, – сначала для моей удочки, потом для своей, закинул их, укрепил на берегу, рассказал, как рыба клюёт, в какой момент нужно тащить.

Было ещё только полдень. Солнце палило, а ожидаемой поклёвки не было. Наконец, Юра поймал рыбёшку величиной с ладонь. У меня за всё это время так и не клюнуло. Дольше сидеть было бесполезно. Свернув удочки, мы вернулись домой.

Печь у хозяйки топилась, пойманную рыбку она зажарила и отдала нам с Игорем. Ещё она дала нам по клинышку шаньги.

Юра позвал меня в лес, и мы пошли на лесную порубку через ржаное поле, которое началось сразу за околицей.

За нами увязался Колька, который давно вертелся здесь – его разбирало любопытство о появившихся чужаках. Он тоже был старше года на четыре и тут же стал учить меня неприличному лексикону, в чём я был полный профан. Он предлагал мне какое-нибудь выраженье, и я, не понимая смысла, повторял его как попугай. Это здорово веселило Кольку, от смеха он хватался за животик. Я оказался способным учеником, он сразу же обучил меня всему, что знал сам, и от того, как это у меня получалось, со смехом катался по земле.

Не участвуя в этом спектакле, не обращая внимания на Кольку, серьёзным видом Юра показывал, что не одобряет его. Колькино общество с самого начала было неприятно и неуютно ему. Он рассчитывал провести время со мной, рассказывал, где нужно искать землянику и малину, объяснял, как делать серу, то есть жвачку, из еловой смолы – как выбрать смолу, как варить её – довести до кипения, процедить потом через тряпицу или сито.

Когда мы вернулись, Колька тут же рассказал моей матери, как я обучался у него нехорошим словам. К большому удовольствию его, я получил от матери выговор. Но дело было сделано. С тех пор я не забыл преподанного Колькой урока. Позже деревенские наставники научили меня ещё и несколькими выражениями по-удмуртски и по-татарски – тоже, конечно, неприличным.

Времени было за полдень, но всё ещё жарко, когда из города прибыл младший сын хозяев Василий – Васька, в местном произношении Васькя – спокойный, добродушный малый, большой и сильный, и тоже оказал мне своё расположение. Для меня он был «дяденька», хотя лет ему было всего восемнадцать. Он позвал меня на пруд – проверить морды.

Втроём мы спустились по крутой горе – Василий, Юра и я. Плоскодонка была примкнута цепью к коряге. Василий открыл замок, мы сели в лодку, он направил её к верховью пруда, густо поросшему рогозом. Первый раз в лодке мне было немного боязно не чувствовать под собой устойчивой почвы.

Морды стояли в том месте, где начинались заросли рогоза. Василий достал сначала одну, разгрузил её, потом другую. В обеих оказалось много подростковых окуней, а также по два крупных окуня и по два больших леща в каждой, и был ещё один толстый, золотистый линь.

Вода в пруду была проточная, чистая. Чернея своими шишками, рогозы стеной покрывали всё верховье пруда. Здесь их звали чернопалки.

По склону горы, если смотреть снизу, от пруда, левее тропы, росло десятка полтора старых высоких лип. С правой стороны, в сотне шагов, по крутогорью, опускавшемуся к речке, начинался лес, который составляли ели и пихты.

И Василий, и Юра оставили самое доброе впечатление. Василий в тот же день навсегда покинул родную деревню. Уехал и Юра. Так прошёл первый мой день на чужой стороне.

Мать стала работать бухгалтером в артели «Бондарь», строения и хозяйство которой располагались за прудом, на низкой стороне. Артель занималась изготовлением бочек, огромных чанов, шаек, используемых в бане, а также больших рогож. Было два как бы цеха. В длинном низком строении – то есть это была изба в несколько связей – размещались бондари со своим инструментом и верстаками. В другом, отдельном, доме стояли ткацкие станки, на которых женщины ткали из мочала рогожи. Большой высокий сарай, с распахнутыми воротами, до самой крыши был забит тюками мочала.

На территории артели находились ещё столовая, конюшня, стоял также домик, в одной половине которого была контора, в другой жила сторожиха с двумя сыновьями. В те дни артель гудела, как улей. Бондарный цех закрывался. Весь состав бондарей уходил на войну, оставался только ткацкий цех. Производился расчёт, увольнение, артель была захвачена многоголосым брожением.

В артельской столовой мы опять ели вкусный гороховый суп. Кажется, здесь Игорь мог наконец наесться досыта. Но так продолжалось недолго. Все эти шум, многолюдство, толчея очень скоро прекратились, артель обезлюдела, закрылась и столовая.

Всех пригодных для армии мужчин быстро призвали. В последний, может быть, раз некоторые из них собрались на улице возле нашей избы, окружив Орлика, могучего красавца, – каурого жеребца-тяжеловоза с роскошной золотистой гривой. Обсуждали стати и достоинства его, сожалели, что забирают в армию. Через каких-то несколько дней не только Орлика, но и тех, кто сочувствовал ему, не осталось в деревне.

Для нас началась новая жизнь, содержанием которой стала забота о хлебе насущном.

До начала занятий в школе мы с Игорем осваивали незнакомое пространство. А вскоре у меня появилась обязанность: я должен был обеспечивать домашнюю потребность в топливе.

На той же порубке, в полутора километрах от деревни, кроме сучьев, было покинуто много остаточного леса: вершинные части деревьев, обрубки, обрезки брёвен, часто довольно крупные. Я набирал длинные жерди – по несколько в каждую подмышку – и волоком притас-

кивал это домой. Вначале брал всё подряд и что полегче. Но то, что было полегче, тронутое тленом, не имело нужного качества. Хозяйка велела такого не брать. Дрова должны были обеспечивать полноценную топку печи.

Вечером, когда мать приходила с работы, мы отправлялись опять же на порубку, и там собирали грибы, землянику, малину. У каждого была посуда для сбора ягод. Игорю доставалась маленькая мисочка. Чаще всего найденные ягоды он клал в рот. Но вот на доньшке у него оказывалось шесть или десять ягодок, большую часть которых ему подкладывала мать. Собрать больше не получалось, он не мог отвести глаз от ягод, которые уже были у него. Не справившись с искушением, он клал одну из них в рот. Через минуту говорил, думая, что его никто не слышит: «Ещё одну ягодку съем – и больше не буду». Так повторялось ещё и ещё, после чего в мисочке оставалось две или три ягодки, и его огорчало, что их у него так немного.

Мать показывала, какие грибы можно собирать, какие нельзя. У неё набиралось больше и грибов, и ягод, но всё равно этого было мало.

На порубке подрастали ёлки и ёлочки, возле пней возвышались навалы срубленных сучьев, сросшиеся с ними огромные муравейники, заросли малинника и крапивы.

Порубка занимала обширное пространство, за нею начинался настоящий дикий лес. Мы делали такие походы ежедневно, пока позволяла погода.

Спали мы на полатах. Они были устроены над входом из сеней в горницу и протягивались от печи до стены. До самой стены дощатый настил не доходил, и бывало, Игорь во сне откатывался на край и падал отсюда вниз. К счастью, внизу в этом месте стояла кровать нашего старика, и падение с небольшой высоты было неопасно.

Всё-таки Игорь постоянно попадал в какие-то переделки. На него насканивал соседский петух, просто не давал прохода, будто специально караулил, когда он выйдет на улицу. Ещё у соседей было несколько ульев, пчёлы во множестве летали в этом месте. Кажется, они не трогали никого, но непременно норовили ужалить Игоря. Было у него элегантно по тому времени пальтишко – с отворотами, с хлястиком, с накладными карманами и красивыми пуговицами, приятного серого цвета. Была ещё шапочка – вязаная, с помпоном, серенькая, с зелёной крапичкой. Из дома он уходил в них, а днём, когда становилось жарко, где-то их оставлял. Вскоре эти пальто и шляпу знала вся деревня, их постоянно находили в разных местах и возвращали нам. И он всё время ныл от голода.

Хозяева наши были достаточные крестьяне. У них было всё, что давала земля, на которой они трудились. К нам они отнеслись как к незванным и непрошеным пришельцам. Они рассуждали так: «Зачем нужно было уезжать от своего дома и своей земли? Ну и что, что война, что немцы?! Всё равно вы должны были оставаться там, у себя». Они знали цену тяжёлому крестьянскому труду. К тому же насилие, которое совершила и продолжала совершать над ними советская власть, лежало на них ярмом несвободы. Мы устраивались хотя при минимальной, но всё-таки поддержке государства, и ещё поэтому не вызывали их сочувствия.

В полдень старичок прибежал на обед. К столу подавалась баранья похлёбка, отварная баранина. Ели вдвоём из одной миски деревянными ложками. Потом была парёнка – тушёные свёкла, репа, морковь. Были пироги со свёклой, с морковью и шаньги. Молоко было топлёное и свежее, были и простокваша, и ряженка. Были яйца. Были всегда хлебный квас и свой ситный хлеб.

Обедали в кухне. Прежде чем приняться за трапезу, творили молитву – стоя перед иконой, висевшей над столом, в углу. Ели неспешно, обстоятельно, не разговаривая во время еды.

В то время как старик и старуха с аппетитом поглощали все эти яства, мы с Игорем, словно голодные собачонки, стояли напротив, прислонясь к стенке, испытывая мучительные позывы в пустом желудке от запахов, шедших со стола, не в силах отвести глаз, смотрели им в рот. Хозяева не обращали на нас внимания.

Поев и напившись квасу, перекрестившись перед иконой, старик валился на кровать, начиная храпеть ещё не коснувшись подушки. Хозяйка убирала посуду, собирала объедки для скотины. Мы настырно продолжали стоять. Наконец, прирав всё на столе, на загнетке, она отрезала нам по клинышку шаньги.

Поспав часок, старик вскакивал и бежал на конюшню.

Иногда в нашем с Игорем присутствии он высказывал свои политические убеждения: Сталин – дурак. Дитер – умница, молодец, он разгонит колхозы. Старуха строго пресекала столь безрассудный оппортунизм:

– Стювайся!

Понятно, что Дитер в произношении старика – это Гитлер. Он так надеялся на него, лелея мечту избавиться от ненавистного колхоза.

Колька не забывал обо мне. Во время нашего бегства от войны на одной из станций я нашёл резиновую противогазную маску. Кольке эта маска не давала покоя. Зачем она была нужна ему? Просто так. Ему хотелось, чтобы она была у него, как вещь, какой в деревне никто не имел. Конечно, из неё можно было сделать отличные рогатки, но нет, он просто хотел ею владеть. И он не переставал увиваться возле меня, предлагая различные варианты для обмена. Одурачить меня было нетрудно, и вскоре маска оказалась у него. Получив взамен пару крючков, грузило, поплавков, я начал прилаживаться к рыбной ловле. Колька усовершенствовал удочку, которую наладил мне Юра, отрегулировал грузило, поплавков, нацепил другой крючок. Я стал ходить с нею на пруд, но рыба у меня не ловилась.

Первого сентября я пошёл в школу. Это был большой, по деревенским понятиям, дом – новый и ещё недостроенный. Снаружи и внутри он был ещё свежеструганной древесины, стоял в середине нашей верхней слободы. Ученики от первого до четвёртого класса, все вместе, сидели в одной комнате, в которой занимали только половину её. Учитель был один – невысокого роста, лет, может быть, сорока пяти, постоянно раздражённый, оттого, видимо, что презирал учеников и свою миссию. В школу ходили дети из соседних деревень, в том числе из удмуртской деревни. Дети-удмурты отличались от русских. Девочки носили длинные платья или сарафаны из тканей домашнего производства с цветастым орнаментом. Они были тихие, скромные, старательные. Мальчики внешне не отличались от русских, но тоже были скромные и старательные в учёбе. Им она давалась труднее, так как они недостаточно владели русским языком. Пребывавший в дурном настроении учитель, проходя рядами парт, заглядывал в тетрадки учеников. Останавливаясь возле одного, он обращал внимание, что тот пишет куцым огрызком карандаша.

– Что это такое?! – вопрошал он патетически, поднимая над головой ничтожный сей инструмент, и заключал: – Заткни его в задницу!

После чего швырял карандаш куда-нибудь в угол.

В следующий раз, останавливаясь возле того же ученика, обращался к нему с тем же пафосом:

– Что ты тут намарал?

Затем вырывал из тетрадки листок, комкал его и выдавал следующий педагогический совет:

– Возьми, подотрёшь задницу!

Скоро, однако, учитель исчез. Говорили, будто он украл колхозный баян, патефон, что-то ещё. Больше о нём мы ничего не узнали.

Сразу после этого школу перевели в избу, которая была школой прежде, – из-за того, что новое недостроенное помещение трудно было бы содержать в зимнее время в тепле.

Старая школа была простой избой, посреди которой стояла русская печь. Изба делилась на две половины с партами и классной доской на каждой из них. Я стал учиться во втором классе.

Здесь было уже две учительницы. Они вели занятия по очереди. Когда занималась одна, другая в это время спала или просто лежала на печи – вставать было некуда. Ученикам было слышно, как она ворочалась, вздыхала, зевала. Учительница, проводившая урок, позанимавшись на одной половине, переходила на другую. Открытый проём между ними позволял видеть и слышать всё, что происходило и там, и там.

Дома в это время хозяева соорудили большую плоскую поверхность, на которой разложили мокрую мешковину или рядно, равномерно рассыпав на нём рожь. Зерно через некоторое время набухло, потемнело и проросло. Из любопытства я попробовал его – оно было сладковатым. Потом зерно было убрано, а в подполье начался какой-то процесс. Улучив минуту, когда дома не было никого, я спустился туда и увидел некое сооружение, огонёк, стеклянные трубки. С конца одной из них в какую-то посудину капала бесцветная жидкость.

Старик стал чаще появляться дома и, когда не было старухи, кидал в пространство:

– Погляжу-ко, как сохраняется картошка.

Сам брал с поставца рюмку и спускался в подпол. Через некоторое время вылезал оттуда, крякал удовлетворённо, произносил с чувством:

– Эх, хороша кумышка!

С приходом холодов в избе поставили железную буржуйку. Топливо для неё доставлял я. На порубке набирал толстых смолистых сучьев, которых там было сколько угодно. Точно так же брал две охапки под мышки и всё это тащил домой – сначала по мёрзлой земле, потом по снегу, каждый раз всё более глубокому. В лабазе рубил эти сучья, заносил в избу, к печке, и после весь вечер их жгли, наслаждаясь пышущим от неё жаром. Наступали часы блаженства, умиротворенности, мирных бесед. Разговаривали мать, хозяйка и Вера – ещё одна квартирантка, лет двадцати пяти, родом из другой деревни, работавшая в артели ткачихой. Хозяйка, нащепав загодя лучины, при свете её сучила пряжу или вязала носки, варежки. Лучина вставлялась в железный зажим, горящие угольки от неё падали в посудину с водой. Старик не участвовал в разговорах. Используя кочедык и колодку, в отвесах, падавших от печки, плёл из лыка лапти. Было интересно наблюдать, как он это делал.

К утру избу выдувало так, что вода в ведре покрывалась льдом, который оставался плавать там до самого вечера, пока не начинали снова топить буржуйку.

Но вот заболел наш старик. Плохо ему стало. Он перестал ходить на конюшню, лежал в постели. Как раз в это время по ветеринарным делам в деревню заехала Надежда Николаевна. Она осмотрела старика и твёрдо велела ему не употреблять острой пищи – квас, редьку, лук, хрен.

На другой день, когда дома не было никого, – мы с Игорем не в счёт, – больной встал с постели, налил миску квасу, натёр редьки, хрену, накрошил луку. Старика можно понять – ему этого очень хотелось. В тот же день с ним случился ужасный припадок. Его захватили страшные корчи, сознание выключилось, он изгибался и дёргался, как бесноватый, храпел, изо рта шла пена.

Хозяйка, мать и я бросились к нему. Он едва не оказался на полу. Мы навалились на него. Некоторое время он бился под нами. Потом внезапно и сразу затих, выпрямился, захрапел каким-то нечеловеческим храпом и, быстро перестав храпеть, провалился в глубокий сон. Недолго поспав, очнулся, ничего не помня о произошедшем.

Так стало повторяться по нескольку раз в день, и очень скоро он умер.

Перед смертью он сделался тихим и кротким, попросил у каждого, кроме нас, детей, прощения – у старухи, у Веры, у нашей матери. После этого тихо отошёл в мир иной.

Дальнейшее поразило не меньше. Внезапно заголосила с причитаниями Вера:

– А что ж ты это сделал, Ликандрович, а пошто ты это такое сделал!? На кого ж это ты нас покинул, на кого всех нас оставил?!..

Вера, не очень любившая и хозяйина, и хозяйку, вдруг обнаружила такое переживание по умершему, в то время как сама хозяйка всего лишь утёрла скупую слезу. Ещё больше удивило то, как Вера так же сразу, как начала, оборвала свои причитания и тут же повела себя и заговорила совсем обыденным образом. Тогда я не понимал, что так исполняется ритуал народного обряда.

В тот час на дворе разыгралась страшная непогода. Снегу и так уже навалило столько, что в прокопанных проходах человек скрывался с головой, но едва старик опочил, природа пришла в настоящее бешенство. Снегопада не было, день был солнечный, но пошла такая завируха, что и вытянутой руки не было видно, и солнце угадывалось в небе только мутным пятном.

Покойника обмыли, обрядили, положили на столе, головой к образам. Хозяйка засветила лампадку. Из деревни пришла старушка читать над усопшим Псалтирь. Старушонка путалась, запинаясь, голос дребезжал, был чуть слышен.

К похоронам погода утихла. Гроб поставили в сани, там лежал и крест, сработанный из довольно толстого бревна. И покойника повезли на погост. На поминки пришло столько народу, что заполнили всю горницу. Прежде поминальной трапезы опять читался Псалтирь. Читала на этот раз наша мать. Хозяйка попросила её об этом, узнав, что она понимает церковно-славянскую письменность. Мать читала громко, чётко, нигде не сбиваясь. Поминальщики стояли, обратясь к иконам, крестились, творили поклоны.

Для поминального угощения были приготовлены разнообразные яства – похлёбка, варенья, соленья, была, конечно, баранина, пироги, овсяный кисель, булочки с маком, другая выпечка, была и кумышка. Приготовить всё это, подать на стол хозяйке помогали Вера, наша мать, кто-то из соседней. Всё происходившее мы с Игорем наблюдали с полатей.

Горела керосиновая лампа. Трапеза длилась долго, чинно.

После того как все ушли, хозяйка позвала к столу и нас, и мы наелись всего такого вкусного, о чём не могли и мечтать.

Поминки по тамошнему обычаю собирались потом на двадцатый день, на сороковой, на шестидесятый и через год. Все они происходили по тому же образцу, как и первый раз, и для нас среди нашего голодного существования были как настоящий праздник.

Ещё до того, как умер старик, пришла похоронка на Василия. После мобилизации его направили в училище, оттуда через три месяца выпустили в звании лейтенанта. На фронт он попал командиром пулемётного взвода и в первом же бою погиб. Не помню, чтобы хозяйка как-то заметно выражала своё горе. Это была сильная женщина, настоящая крестьянка. Земля и труд кормили её, они же питали её дух.

Мать приносила мне подшивки газет, кажется, это были «Известия», я читал всё, что печаталось о войне. А в конце осени или в начале зимы, в деревне произошло странное брожение. Ещё был жив и даже не болел наш хозяин. В школе вдруг ученики разрисовали мелом, где только можно, фашистскую свастику. Нарисовали на собственных валенках, на рукавах. Кажется, именно в это время хозяин наш особенно часто объявлял Сталина дураком, а Дитера умницей. Потом, как-то вдруг, все фашистские знаки исчезли. Думаю, это произошло, когда и Москва, и Советский Союз переживали роковые дни сорок первого года. Наивные крестьяне, которых изнасиловала советская власть, надеялись и ждали, что Гитлер освободит их от колхозов.

В деревне у меня завелись знакомства. Я стал бывать в некоторых избах, из которых ближе всех была соседняя с нами изба Прокудиных. Там жили Лёнька и Галка, с которыми я учился, были у них ещё и меньшие дети.

Прокудины жили беднее нашей хозяйки. На окнах у нас стояли горшочки с геранью, которая постоянно цвела. На стенке, противоположной красному углу горницы, отгораживавшей кухню, висел поставец в виде затейливо застеклённого шкафчика. Штукатуренные и побелённые стены придавали избе опрятный вид. В кухне тоже были цветы, стол там был покрыт

клеёнкой. Печь располагалась так, что её можно было обойти вокруг. Наверху она была обложена брусом, чтобы на ней можно было сушить зерно. В узком проходе из кухни, между стеной и печью, стояли вёдра с водой, лохань для помоев. Здесь была устроена лесенка на печь. Под лесенкой находился люк в подполье. Брус и лесенка были покрашены охрой, имели приятный вид, хотя на многих местах краска уже облезла. У Прокудиных, кроме такой же буржуйки, в горнице были только дощатый стол да лавки вдоль голых, нештукатуренных стен.

Галка показывала фокусы, суть которых сводилась к обману, в результате чего мне что-нибудь засовывали в рот или выливали на голову воду.

Лёнька был вроде товарищ, однако сомнительный. Летом помог мне поставить на пруду перемёт, но когда на другой день я поехал на лодке проверять, то не нашёл его, а увидел потом брошенным на горе. И кто-то из мальчишек сказал, что тот же Лёнька и обворовал мой перемёт, на который попала пара крупных окуней. Сам же Лёнька божился, что он ни причём.

К Прокудиным раза два приезжал отец, находившийся, как инвалид, на трудовом фронте. Он хромотал, у него было что-то с ногой. На деревне ходил слух, что он симулянт, что на ноге он сам сделал что-то, чтобы не взяли на фронт. Приезжая на побывку, он с утра до ночи работал на своём подворье, поднимал огромные тяжести, стараясь сделать как можно больше для дома. Соседи всё это примечали.

Чаще всего я бывал у Демидова Мишки. Изба эта была совершенно чудесным местом, являя собой диво, какого во всей своей жизни никогда больше я не видел, даже не слышал о таком. Когда-то в избе начинался пожар – внутри она обгорела до черноты, особенно потолок, вид имела мрачный, тёмный, бревенчатые стены сильно закоптились.

В люльке, подвешенной на гибкой жерди, прикрепленной через кольцо к потолку, обретался последний из отпрысков Демидовых. Мишкина сестра, чуть постарше, доглядывала его, он уже начинал ходить. Был и ещё один братишка моложе Мишки. Чудо же заключалось в неисчислимом количестве тараканов, которым здесь было привольное житьё, – мириады рыжих прусаков. Им уже не хватало места – они ходили друг по другу. Стены, лавки, стол, подоконники, потолок шевелились и мерцали от их непрерывного движения. Изредка среди них попадались белые – альбиносы. Посреди избы здесь тоже стояла буржуйка. Мы развлекались тем, что поджаривали на ней тараканов, а иногда Мишка собирал их в какой-нибудь коробок и устраивал показательную казнь.

Из горницы был ход на другую половину избы. Там не было пола, и на соломенной подстилке содержался только что народившийся телёнок.

Демидов-отец был председатель колхоза, а все Демидовы были феноменально спокойные, уравновешенные люди. Когда они садились есть (по-тамошнему «исть») вокруг большой миски, из которой каждый доставал похлёбку деревянной ложкой, тараканы, облепившие стол и всё, что было на нём, были уже и в самой миске, и в ложках, и на ломтях хлеба. И каждый из едоков спокойно извлекал из своей ложки этих квартирантов, отбрасывал в сторону, не причинив им вреда, невозмутимо продолжая трапезу.

У Мишки я первый раз курнул табаку. Табак отец Демидов заготавливал конечно для себя, держал его в большой банке с плотной крышкой. Мишка пробовал баловаться, попробовал и я, но мне не понравилось.

Интереснее всего было у Пойловых, мать которых работала сторожихой в артели. Там в нашем распоряжении находилась вся её территория, все строения и всякие укромные уголки. Валентин, старший из братьев, тоже года на четыре старше меня, спокойный и добрый, как это бывает с людьми, обладающими большой силой, умелый, любил вырезать из липовой древесины красивые пистолеты и самолёты. В стволе пистолета прожигал калёным прутом отверстие, после чего с помощью резинки из него можно было стрелять горошинами. Так же хорошо у него получались самолётики, которые он делал с одним или двумя пропеллерами, ровно жуж-

жавшими на ветру. Он занимался этим в бондарной мастерской, где всё оставалось нетронутым в том виде, как в день, когда бондари ушли на войну.

Некоторые свои изделия Валентин раскрашивал в красный цвет, для чего в бутылку с водой крошил стержень цветного карандаша, который растворялся там через несколько дней – это и был необходимый краситель. Мне он тоже сделал и пистолет, и самолёт. Настоящим его занятием и обязанностью был уход за артельскими лошадьми.

Артель имела три лошади: уже упомянутую Дочку, ранее принадлежавшую колхозу, серую, в яблоках, кобылку и престарелую гнедую клячу. Смотреть за лошадьми помогал младший брат Анатолий, совсем другой, чем Валентин – подвижной, беспокойный, озорник. Летом лошадей выводили куда-нибудь попасться. Составлялся конный отряд. Валентин садился на Дочку, Анатолий на серую, мне доставалась кляча. Дочка горячилась, норовила сбросить Валентина, но это ей не удавалось, Валентин был отличный наездник. Серая под Анатолием шла спокойно и послушно. Бедная моя кляча, на костлявом хребте которой я сбивал до синяков свой зад, могла только влачиться тихим шагом. Братья легко гарцевали на своих лошадях, в то время как я далеко отставал от них.

С братьями Пойловыми мы ловили рыбу в верховье пруда, илистом, заросшем чернопалками. Глубина воды от поверхности ила составляла всего сантиметров пятнадцать, и место это облюбовали довольно приличные окуни. Их было очень много. Они стремительно маневрировали, ускользая от нас, но, останавливаясь в воде, которую мы замутили, высывались из неё спинкой, и, не видя нас, становились лёгкой нашей добычей. Братья наловили чуть ли не два ведра, да и я добыл не менее половины ведра прекрасных окуней.

Помимо производства, которое располагалось в нашей деревне, артель имела промысловое предприятие километров за двадцать, на реке Вала. Там заготавливалась липовая древесина для бондарных работ, драли лыко, вымачивали мочало. Иногда мать ездила туда, а зимой уезжала на целый месяц в Ижевск с бухгалтерским отчётом. Тогда я оставался главным в нашей семье. Хозяйка предоставляла мне чугунок, в котором я варил картошку в мундирах, предварительно вымыв её в ледяной воде. Это была наша еда. Хозяйка никак не вмешивалась в наши дела. Мы целиком самостоятельно устраивали нашу жизнь.

По возвращении матери хозяйка топила баню. Топилась она по-чёрному, каменкой, сложенной из крупных булыжников. В предбаннике, представлявшем простую оградку, – подобие плетня, без крыши, – прямо на снегу мы и раздевались и одевались, напарившись и помывшись. Во время мытья на окошечке тускло светила окутанная паром керосиновая коптилка. В отсутствие матери на нас нападали вши, помыться в бане было величайшим блаженством.

Из Ижевска мать привозила подарки: детское домино, где на дощечках вместо обычных глазков были изображения разных зверей; ещё она купила нам целое стадо: по две фарфоровые фигурки лошадей, коров, овец, свиней, с ними – собака и пастух. Фигурки были небольшого размера и очень симпатичные. Среди холодных и голодных дней они развлекали нас. Привезла она толстый журнал «Пионер», очень интересный, с рассказами, сказками, стихами, из которого запомнились: «Сказка о потерянном времени» и про Язона из древнегреческой мифологии.

Перед сном, когда мы укладывались на полатах в жарко натопленной избе, мать рассказывала потихоньку разные истории, содержание прочитанных ею книг, а по возвращении из Ижевска – о фильмах, которые посмотрела там. Говорила про то, что видела или узнала за время поездки, например, про трупы замёрзших людей на улицах.

Зимние дни, когда не было других дел, при сильных морозах, мы проводили на печи. Большим удовольствием было, когда хозяйке привозили для просушки колхозное зерно: рожь, пшеницу, ячмень, овёс. Зерно на печи нагревалось, и было славно погрузить в него хотя бы спину. А самая большая удача бывала, если привозили горох, которым мы ещё и лакомились.

Хозяйка же подавала голос, чтобы мы не слишком этим баловались, так как существовали нормы усушки, которые мы могли превысить.

Зимой печь топилась дровами из сберегаемого запаса. Буржуйку топливом обеспечивал я. Притащить сучьев за один раз я мог не более, чем на две топки, поэтому, невзирая ни на какие морозы, должен был делать это постоянно. Морозы же достигали порой едва ли не пятидесяти градусов, и в таком случае спасало лишь то, что при этом устанавливалось абсолютное безветрие.

Позже у меня появились лыжи, с ними тащиться по сугробам было удобней и легче. Доставленные сучья нужно было порубить, занести в избу. Однажды неловко подрубленный сук отскочил и врезал мне так, что из глаз посыпались искры. Глаз, к счастью, не пострадал, но синяк был преогромный.

Зато вечерами, когда топилась печурка и в избе становилось, как в Африке, было невероятным блаженством ощущать своё разомлевшее тело в этой жаре после целого дня леденящей стужи.

В лунную ночь хозяйка не жгла лучину, садилась возле окна, к луне, и так пряла свою пряжу. Женщины рассказывали разные истории. Игорь держался возле матери. Я нарезал из картофеля, предварительно вымыв их, пластины, клал на железную поверхность печки, где они быстро поджаривались, и лакомился ими.

При полной луне ночи были необыкновенно светлы. Поле за окошком искрилось морозными огоньками. Каждую ночь, примерно в километре, или даже меньше, через него то и дело скакали зайцы, иногда пробегали волк или лиса. Волчьи следы величиной с лошадиное копыто, подходившие к самой деревне, я видел, когда ходил на порубку за сучьями. Однажды, ближе к весне, под самым нашим окном двое хорошеньких зайчишек затеяли игру, танцуя, прихорашиваясь друг перед другом. Было настоящим чудом наблюдать их так, на расстоянии протянутой руки. Неужели они не видели нас за окном? Или, быть может, специально для нас устроили этот спектакль?

На всю деревню была одна собака – лайка, которую звали Моряк, умница и красавец с острыми ушками. Волки выкрали его и сожрали с волчьей свирепостью, растерзав бедного пса на пруду. Покрытый снегом пруд имел ровную поверхность, на которой остались жуткие следы кровавой вакханалии. Бедного пса рвали, видимо, с двух сторон, и в снегу, истоптанном волчьими лапами, образовались кровавые борозды.

В начале марта морозы ослабли. Снег в поле покрылся плотным настом, по которому здорово было катиться на лыжах, а можно было и просто ходить, не опасаясь провалиться в глубокий сугроб.

В марте небо стало синим-синим. Стояло столь характерное для этих мест безветрие. Солнце сверкало от зари до зари. Под солнцем снежная белизна слепила так, что было больно глазам.

Конец первой зимы ознаменовался редчайшим и удивительным природным явлением. С вечера, когда ложились спать, держался мороз и сугробы на деревне были выше человеческого роста. Ночью случилась ужасная гроза с ливнем. Яростные молнии блистали одна за другой. Раскаты грома с устрашающим треском ломали небо над самой крышей. Всю ночь бушевали адские силы, а когда наступило утро и взошло солнце, от сугробов, заваливших деревню до самых коньков, не осталось ничего. Лишь кое-где, в углублениях, задержались нестаявшие грязные их клочья. И небо было другое – доброе, тихое, уже не холодное. А там, где неслись бурные потоки, образовались глубокие промоины.

Наступила пахотная пора. На поле, за нашей избой, привели лошадей, привезли плуги, бороны. Собрался народ, мальчишки. Было праздничное настроение. Крестьяне были радостно возбуждены. Поле вспахали борозду за бороздой. Они легли ровными рядами шоколадного цвета. Перелетая по ним, грачи выхватывали из земли толстых розовых червей.

В полдень пахари остановились, распрягли лошадей. Мальчишки сели на них и погнали на конюшню. Они делали это постоянно и привычно. Мне тоже хотелось поехать на лошади, хотя до этого я ещё и на артельской кляче не сидел. Меня посадили на гнедую лошадку, которую звали Гранаткой. Я повёл её шагом, ещё не решаясь подгонять, а когда проезжал мимо Колькиной избы, он вдруг выскочил со двора и начал хлестать Гранатку прутом, злорадно смеясь, рассчитывая, что я не удержусь, когда она поскачет. Предвидя такой оборот, я сполз на землю, а Колька хохотал. Однако, я зря испугался. Гранатка была умная лошадь. Когда Колька начал хлестать её, она остановилась, как вкопанная, сердито прядая ушами. И сколько он её ни бил, не двинулась с места. Я взял её под уздцы и повёл – взобраться на неё снова сам я не мог по своему росту. После этого я ездил и на других лошадях. Запомнилась ещё Зинка, такая же кляча, как артельная, только вороная, с таким же ужасным хребтом, от которого долго болел мой зад.

Вспаханное поле засеяли и забороновали. Постепенно потом оно стало зеленеть. Посев делался гуще, выше, и к лету рожь закоосилась, стала наливаться зерном.

Первый год был особенно голодный, всё время хотелось есть. Основным продуктом нашего рациона была картошка, которую мать покупала у хозяйки, и то небольшое количество муки, которую выдавали в артели. Когда я спускался в подполье посмотреть на производство кумышки, я видел там хозяйские запасы картошки, моркови, свёклы, репы, большую корчагу, полную яиц, чан с ряженкой и чан с простоквашей. С осени по периметру горницы и кухни, вдоль стен, висели плети прекрасного золотистого лука. В амбаре в мешках хранилось всякое зерно. Денег у нас не было, чтобы купить, поэтому мы могли только созерцать всё это богатство. А когда у хозяйки что-нибудь портилось, тогда она угощала этим нас. Интересным событием было то, как хозяйка пекла хлебы, шаньги, пироги. Вкушать от этого редко приходилось, но было удовольствием наблюдать, как замешивалось тесто, потом оно поднималось в квашне, пыхтело, потом хозяйка раскатывала колоб, обсыпала мукой, клала его в деревянную форму в виде круглой чаши. Потом из чаши перекладывала на широкую деревянную лопату и помещала в вытопленную и выметенную печь. Какой же получался хлеб! Какой от него шёл аромат! Какой дух! Для шанег хозяйка заготавливала толстые лепёшки величиной с большое блюдо, делала в лепёшке углубление, которое заполняла картофельным пюре, замешанным на молоке. Пироги пекла с морковью и со свёклой. Нам с Игорем давала по пирогу, – особенно вкусны были со сладкой свёклой, – давала и по клинышку шаньги. День, когда хозяйка пекла пироги, для нас был днём больших ожиданий. К сожалению, это случалось не так часто, как того хотелось.

На тамошних пастбищах коровы нагуливали очень хорошее молоко – вкусное, высокой жирности. Его отстаивали в глиняных кувшинах, так что сверху получался толстый слой сметаны. Потом кувшины ставили томиться в протопленную печь. Получались топлёное молоко и топлёная сметана. Сметану с поджаристыми пенками хозяйка собирала в большую стеклянную банку. Она была необыкновенно вкусна и очень соблазнительна на вид для нашего постоянно пустого желудка. Однажды Игорь попытался полакомиться ею, но был разоблачён и пристыжен.

В том краю прекрасно рос всякий овощ: огурцы, морковь, свёкла, репа, капуста, лук. Тыквы достигали огромных размеров, но совершенно не было умения выращивать помидоры. У нашей хозяйки они буйно разрастались на грядке целыми джунглями. Плоды в этих зарослях были мелкими и никогда не вызревали. В конце лета хозяйка собирала их зелёными и клала в сено. Большая охапка такого сена лежала выше печи, у стены. Там эти помидоры находились так долго, что уже давно шла зима, а они только морщились и чуть розовели. Признаюсь, потихоньку я воровал их.

Пришлось полакомиться и мало съедобными яствами: есть хлеб с семенами клевера, хрустевшими на зубах, как песок, чёрные, словно уголь, лепёшки из лебеды. Но самыми мерзкими были изделия из льняного семени. После таких сушек, когда я наелся их с голоду первый раз,

меня жестоко вырвало. И уж потом, при самом сильном желании поесть я не мог переносить даже сладковато-приторного запаха их.

Но были ещё и лакомства. Зимой молоко заливали в специальные корыта или большие миски, выставляли на мороз, и, когда оно замерзло, его строгали специальным скребком, стружку собирали в горшок и сбивали мутовкой до состояния густой сметаны. К этому времени пеклись пшеничные оладьи. Сковороду ставили в печь, к огню. Готовность оладий происходила в момент, когда они вздувались пузырём. Тогда их сбрасывали в миску и тотчас ели с мороженым молоком. Горячие оладьи и густое, холодное молоко – это было потрясающе вкусно!

Кое-какое пропитание давала окружающая природа. Как только сходил снег, в местах, которые были известны, можно было выкопать из земли «пистики» – тугие шишечки хвощей. Перед тем, как выйти из земли, они имели некоторый вкус, скорее были безвкусны, но не противны и питательны, а через день-два, после того как выходили на поверхность, они становились рыхлыми, сухими и уже не имели съедобной привлекательности.

Летом шли ягоды – земляника, малина. Малинника были целые заросли, особенно по склонам оврагов – логов. Чаще всего малина росла, перемежаясь с крапивой, тут же были и огромнейшие муравейники. Некоторые из них достигали размеров прямо-таки египетских пирамид. Муравьи были рыжие, крупные, кусачие. По малину нужно было идти в лаптях с онучами, чтобы муравьи не забрались на голое тело.

Потом шли грибы. Так как в округе не было ни сосновых лесов, ни берёзово-осиновых рощ, а только ель да пихта, соответствующими были и грибы. Белых, подосиновиков, подберёзовиков, маслят не было. Самыми ценными грибами были груздь и рыжик. А однажды случился небывалый урожай на опята. На той же порубке возле одного только пня можно было набрать их сразу целый короб – крепких, замечательных. И многие ходили по опята с большим коробом за плечами на лямках. Росли там ещё удивительных размеров дождевые грибы. Их, конечно, не собирали для еды, но когда мимо нашей избы из соседней деревни в школу шли ученики, многие из них несли на голове белый дождевик величиной с порядочную тыкву.

Яблоки, груши, вишни в той стороне не росли. Не было там ни смородины, ни крыжовника. Фрукт произрастал только один – черёмуха. Её не ломали на букеты, и она вырастала деревом величиной с тополь. На усадьбе нашей хозяйки, построенной в недавнее время, были только небольшие деревца, а по деревне, перед каждой избой, через дорогу, которая делила усадьбу на две половины, росло много высоких старых черёмух. Во время цветения от них шёл сильный одуряющий запах, они гудели пчёлами, и это было очень красиво.

Добрая старушка однажды предложила мне полакомиться своей черёмухой. У неё было два или даже три особенно больших дерева. Я тут же забрался так высоко, как смог. Там среди ветвей и гроздьев крупных чёрных ягод я съел их столько, что потом пришлось ногтями соскребать с языка оскомину.

С деревенскими мальчишками я ходил на Нышу – красивую речку километра за четыре от деревни, купался в пруду, там же научился плавать, рыбачил, хотя не слишком успешно, ходил по грибы.

Однажды большой компанией пошли за грибами в отдалённые леса, а когда собрались идти назад, все мои спутники завернули в какие-то деревни, где у них была родня, и я остался один в незнакомой местности. Когда меня покидал последний компаньон, я попросил показать, как мне идти, и он указал дорогу, которая вскоре стала поворачивать чуть ли не в обратную сторону, потом раздвоилась, опять куда-то свернула. Я остановился в недоумении. Куда идти? Спросить не у кого. Вокруг ни души и никакого селения. К счастью, это был не лес, а поле, к тому же осеннее, открытое. Я интуитивно взял направление и пошёл, не сворачивая с него, не обращая внимания ни на какие дороги. И, как ни странно, после длинного перехода вышел точно в расположение артели.

Постоянной дружбы у меня не было ни с кем. К нам, эвакуированным, относились насмешливо и равнодушно, дали нам кличку «выковыренные» и особенно упорно дразнили «москвичами». Я объяснял, что мы никакие не москвичи, но, наверное, хотелось видеть именно москвичей в униженном, бедственном положении. В крестьянском мозгу крепко засело, что всё неприемлемое, навязанное деревне, шло из Москвы.

В компаниях тон задавали старшие ребята, меня они просто не замечали, я был всегда немного в стороне. Но с некоторыми, моего возраста и моложе, мы проводили время в каких-то затеях, чаще всего в расположении артели, где были в разбросе разные строения и всякие интересные места. Сюда я брал с собой Игоря. Здесь мы затевали какие-то игры, бродили, что-то выискивали, высматривали, заходили в бондарную мастерскую, заглядывали к ткачихам, многие из которых были молодые девушки, шутили с нами. Здесь работала и Вера.

На артельской территории под открытым небом оставались два или три больших чана высотой метра два, полностью готовых, однако не востребованных. В сарае, набитом тюками мочала, мы лазили между ними, лежали на них, вдыхая мочальный дух, прятались здесь от дождя – почему-то это тоже было интересно.

Вблизи скотного двора стояли длинные скирды соломы, в которых мы проделывали норы, устраивали гнёзда, наслаждались сумраком, теплом, которое держалось там даже в холодные дни.

Игорь подрастал. Он имел свой круг общения, в основном в семействе Прокудиных, где были дети, подходящие его возрасту. Однажды зимой, в мороз, – мать в это время была в Ижевске, я уходил в школу, – чтобы он оставался дома, я спрятал его одежду, обувь, но он всё-таки убежал к тем же Прокудиным – босиком, по снегу, в одной рубашонке. Конечно, ему было тоскливо сидеть в одиночестве в холодной избе, хотя и на печи. Как ни странно, после этого случая он не заболел. Летом я брал его с собой в лес или на пруд. Мы заходили и к матери. В своей конторке чаще всего она была одна. Ей хотелось что-нибудь нам показать, чем-то развлечь, но ничего интересного не было.

Дрова, которыми я обеспечивал избу, не устраивали хозяйку, так как для нормальной топки нужны были полновесные поленья. Я же притаскивал в основном тонкие жерди, которые быстро прогорали, давая мало тепла. Тогда хозяйка одолжила на деревне двуколку, почти такую, в какие запрягают лошадь – с большими колёсами и длинными оглоблями, скреплёнными в конце их перекладиной, покрашенную в чёрный цвет. На телеге я стал возить толстые брёвна, часто такие, что трудно было их поднять и уложить. Я накладывал столько, сколько могло удержаться, не скатываясь через высокие борта тележки.

Вот я вывожу телегу из лабаза, выезжаю за околицу. Дорога сразу заходит в рожь. Она не колышется, не шумит, и, однако, над полем стоит тихий, чуть слышный звон. Я скрываюсь во ржи с головой. Солнце, небо и я... Незабываемое чувство...

Добравшись до порубки, съезжаю с дороги. В лесу зной кажется сильнее. Выбираю такое место, где можно поближе подтаскивать пригодные брёвна. На этот раз решаю взять бревно, которое уже давно держал на примете, – длинное, толстое, тяжёлое. Ставлю телегу так, чтобы оно оказалось между оглоблями, тяжёлым концом ближе к кузову телеги. Начинаю поднимать – тяжело! Всё же держу, не опускаю, тащу. Дотягиваю, кладу конец бревна на край кузова, отдыхаю. Медленно, но всё-таки укладываю его, и опять отдыхаю, спешить нет нужды.

Но вот телега полностью загружена.

Ехать с таким грузом по травянистой поверхности, а потом по дороге на подъём, не просто. Только, когда дорога начинает идти с небольшим уклоном, становится легче.

Загрузив телегу, не спешу тотчас трогаться в обратный путь, долго валяюсь на траве, наслаждаясь минутами, о которых ещё не знаю, что лучших в жизни не будет. Ели у края опушки чуть шевелят косматыми лапами. Из леса приходит невнятный шёпот. Иногда он делается слышнее, часто замирает совсем, тогда наступает тишина. Суровые исполины эти хранят

покой заповедного края. На многие вёрсты вокруг ни души. Солнце и небо, на котором ни облачка, ни пятнышка, ни даже какой-нибудь птицы. И кажется, что ты один в целом мире, и в долгие эти минуты с чувством одиночества соединяются мечты о покинутом доме...

Однажды, когда со мной был Игорь и я уже загрузил телегу, неожиданно на косогоре, вблизи небольших ёлочек, обнаружилась целая россыпь замечательных рыжиков. Взять их было не во что. Оставить до следующего дня нельзя – за короткое время их уничтожат черви. До заката оставались какие-то минуты, светлое время быстро сокращалось. С трудом выехал я на дорогу, преодолел подъём. Деревня и наша изба были на расстоянии полутора километров, но солнце уже подошло к самому горизонту. Я решил оставить Игоря с телегой, мигом слетать за корзинкой, набрать рыжиков, пока ещё было светло, и тогда ехать домой. Но когда изложил этот план Игорю, он завершал: «Боюсь...» Тогда я предложил: «Ладно, с телегой останусь я, а ты слетай за корзинкой». Но и это оказалось невозможно. Он опять боялся бежать до деревни один, хотя оставался бы всё время на виду у меня. Конечно – ему было пять или шесть лет. Пришлось отказаться от этой затеи. Когда на другой день я прибежал пораньше с корзинкой, было уже поздно – все до единого рыжики пали жертвой червей.

Новый Год крестьяне никак не отмечали, но в школе ёлку поставили. Украшения были бедные, однако школьникам были сделаны подарки. Ученики были из разных деревень, и подарки каждый колхоз делал только своим детям. Самый лучший подарок сделали удмурты: каждому ученику дали небольшой каравай прекрасного пшеничного хлеба, на который сверху был положен приличный оковалок засахаренного жёлтого мёда. Всем другим досталась маленькая пшеничная булочка. Я не принадлежал ни какому колхозу, но учительница как-то сумела выкроить булочку и для меня.

На Новый год Вера собралась в свою деревню и позвала меня с собой. Пока я доставал на деревне для неё лыжи, день кончился. Мы вышли, когда солнце погрузилось за горизонт. Стало быстро темнеть. Мы переговаривались. Было морозно, и, как обычно, безветренно. Но вот впереди показалось что-то тёмное. Мы остановились. Разглядеть было нельзя – волк это или что? Подойдя по долгу мужчины к тёмному предмету, я увидел, что это всего лишь деревце ёлки.

Ночь была безлунной, блистали звёзды. Вера шла тяжело, медленно. Разгоняясь, я убежал далеко вперёд. Опередив её намного, я заметил, что местность справа имеет плавный, пологий склон. Ради удовольствия, пока Вера догонит меня, я покатил по нему, и внезапно, не разглядев скрытые ночным мраком очертания рельефа, полетел в овраг, крутизна и глубина которого были такие, что преодолеть их обратным порядком было невозможно. Падение в сугроб не причинило какого-либо вреда, я не ушибся, но понял, что оказался в ловушке. Вера, конечно, не видела, куда я делся. Кричать было бесполезно, моего голоса она не услышит. Да если бы и услышала, как бы она помогла мне? Я бросился бежать по оврагу, рассчитывая, что, может быть, высота и крутизна склона понизятся, и, к счастью, предположение моё оказалось верным. Овраг действительно стал мельче, берег сделался положе, преодолев его, я обрёл свободу.

Обеспокоившись моим исчезновением, Вера звала меня. Из оврага её не было слышно. Дальше я уже не уклонялся от нашего пути.

Мы ещё долго шли полем, пересекли край леса, где в стороне, метров за двести, увидели большой костёр, возле которого стояли какие-то люди. Они не окликнули нас, и мы прошли мимо них. Так мы пришли, наконец, к Вере домой. Встретили нас мать Веры, брат и сестра, оба моложе её. Печь топилась, несмотря на поздний вечер, и меня накормили горячими оладьями с мороженым молоком.

Утром Вера повела меня в здешнюю школу, которая была больше нашей, да и деревня была значительно больше. Ёлку в школе украшали маленькие вязаные носочки и варежки, маленькие коробочки из лыка, лапоточки, другие предметы крестьянского обихода, сделанные

в миниатюре. На ветках красовались также и сушки из льняного семени, столь мерзкие для меня, другие подобные им кондитерские соблазны. Возле ёлки было скучно и грустно.

Флегматичный и медлительный Демидов был неглупый и совестливый человек – крупный, широкоплечий, волосы имел редкие, с проседью, лицо умное, крестьянское, ни бороды, ни усов не носил, глаза были озабоченные, усталые, голос негромкий, такой, в котором угадывались человечность, опыт и знание жизни. Наверное, через год после того, как мы стали там жить, он принял нашу мать на работу колхозным бухгалтером, хотя были и другие претенденты, и в конце года она уже получила на трудодни кое-что из того, что производил колхоз. Ещё мы собрали некоторый урожай с участка земли, который был предоставлен нам, и с этого времени жить нам стало легче.

В последнем году нашего пребывания в Кочекшуре Демидов распорядился выдать колхозникам на трудодни полностью всё, что им полагалось по результатам работы колхоза. Это был смелый поступок и нешуточное преступление, наказанием за которое была штрафная рота или лесоповал. Демидов обязан был сдать всё до последнего зёрнышка государству, как это делалось в других колхозах, где люди голодали, ели лебеду и прочие суррогаты. Он пошёл на это сознательно, и только в виду возраста его отправили не на фронт, а на какие-то работы. Думаю, на такие, где ему дали в полной мере почувствовать, что так шутить с советской властью нельзя. Да и время ведь было какое...

Тогда же по распоряжению Демидова была забита свинья. Из неё наделали пельменей, которые потом распределили между колхозниками по трудодням. Матери на её трудодни досталось девяносто два пельменя. Получив их, мы съели сколько-то, остальные вынесли в мёрзлую клеть, положили там на столе. На этот же стол Вера положила мешочек с мукой, которую получила в артели. А ночью случилось небывалое.

При вечерних посиделках мы вдруг услышали, что возле избы кто-то ходит. Всех нас сковал страх. Такого ещё не было с начала войны. Мы не знали, что делать, и всю ночь не спали. Когда же наступило утро, нам, а особенно хозяйке, пришлось пережить настоящее потрясение – дверь в избу оказалась закрыта снаружи через ушки для всячего замка. После долгих стараний завес удалось сбросить. Всегда спокойная, уверенная хозяйка в панике бросилась к амбару. Снег возле него был сильно вытоптан. Увидев это, хозяйка едва не лишилась чувств. Однако замок оказался на месте. Он был простой, примитивный, но воры не справились с ним. Когда амбар был открыт, там всё оказалось в целости.

И всё-таки воры поживились, но уже за наш счёт и за счёт Веры. Сквозь узкое оконце клетки размером в выпиленный кусок бревна были похищены наши пельмени и её мука. Трудно было понять, как им это удалось, – стол с пельменями и мукой, которой было килограммов шесть, находился довольно далеко от тесного окошка, и, однако, пельмени, как и мука Веры, исчезли вместе с нашими гастрономическими предвкушениями.

Сурина, полезна для здоровья была природа тех мест. Солнечных дней было много и летом и зимой. Кислой, слякотной погоды не бывало. Зима приближалась постепенно и устанавливалась сразу. Морозы бывали крутые, но стояли при солнце и безветрии. Снегу наметало столько, что с подъезда деревню не было видно. Летом проходили быстрые грозы и дожди, после которых снова становилось жарко и солнечно.

Как мы были одеты? На себе помню ватную телогрейку на взрослого человека, какую-то рубашонку. Штаны мне пошила мать из своей юбки коричневого цвета. Материал был подобен наждачной бумаге, отчего я испытывал весьма неприятные ощущения. На ногах одно время были валенки, но они прохудились. За то, как я оправдывался перед учительницей, почему не был в школе, ученики стали дразнить меня: «Почему ты не пришёл? – Валенцки дзырявые». Именно так это и звучало: «валенцки дзырявые». Всё чуждое, чужое, особенно городское, а особенно, если считалось, что это от Москвы, высмеивалось и вышучивалось. Надо было говорить: валенки худые, прохудились, но никак не дырявые. Потом я ходил в больших рабочих

ботинках, с портянками, походил и в лаптях. Была и шапка-ушанка со свалывшейся ватой за подкладкой. Всю эту одежду где-то и как-то доставала мать.

Как ни странно, простудой мы не болели. Но поболеть мне всё же пришлось. На ноге вдруг возник мокрый лишай. Образовался свищ. Боли я не испытывал и потому так и ходил с этим свищём. Было неизвестно, как его лечить. Но вот мы сходили в баню, хорошо помылись, напарились. А ночью ногу мою начало дёргать так, что я до утра криком кричал. На другой день мать повезла меня в город. На меня надели полушубок, сверху укутали в тулуп, – всё от хозяйки, – я лёг в сани, боли уже не было. Сели мать, возчик, и мы поехали – в ночь.

Наверное, это была единственная в жизни такая ночь: светила полная луна, сияли белизной заснеженные просторы, небо было чёрно и усеяно какими-то необыкновенными звёздами, и чем-то волшебным, чуденым околдовали землю неподвижность и тишина.

В лесу, с двух сторон дороги, образуя ущелье, встали гигантские ели, будто уснувшие под снежным покровом великаны. Молчание и скованность их при яркой луне, под звёздным небом были настоящим колдовством. И так славно было смотреть на всё на это из тёплого тулупа, лёжа на сене, в санях, плавно скользивших на укатанной дороге среди безмолвия сказочной ночи.

В городе остановились у Надежды Николаевны. Приняли нас радушно, накормили борщом с кониной, что было очень вкусно, – мне дали большой кусок конины. Надежда Николаевна по должности ветеринарного врача выбраковала здоровую лошадь, которой приписывалась несуществующая болезнь. Лошадь забили, а мясо разошлось среди участников преступного сговора. Во время голода люди совершали много не совсем хороших поступков. Прости их, Господи!

Жил у них зайчик. Олег что-то сделал с ним, и он перестал расти – остался карликом, хотя был уже взрослый. Крохотный, он передвигался на задних лапках – передние ему отдавали. Как собачка, он стоял перед обедающими, ожидая подачи. Одно ушко у него торчало вверх, другое валилось набок – такой маленький, такой несчастный и грустный.

Мы заночевали. Женщины много говорили, вспоминали. У нас с Олегом, с его братишкой и сестрёнкой тоже были какие-то дела. Олег показал свои игрушки, дал с собой книжку – «Витязь в тигровой шкуре».

Доктор, у которого мы побывали на приёме, выписал мазь, и она помогла.

Учился я уж просто не знаю как. Матери учительница говорила, что я способный ученик, однако моими оценками были сплошь двойки. Учебников у меня не было. Вместо тетрадей использовали детские книжки большого формата, с крупным шрифтом, на которых писали между строк. Не помню, чтобы дома я делал какие-нибудь уроки. Тем не менее, окончил второй, третий, перешёл в четвёртый класс. Учёба меня не интересовала. Меня занимали книжки, но достать их было негде. В школе, правда, была небольшая библиотека – две полки в шкафу. Я прочёл там «Робинзон Крузо», про Гулливера, «Волшебник Изумрудного города», «Сказки братьев Grimm». Ванька Пасынков дал почитать про Мюнхгаузена. Читал также книжки Гайдара, «Белеет парус одинокий», какую-то книгу о японском шпионе. Одной из самых любимых и самых запомнившихся стала книжка про Амундсена. Книжка о шахтёрах – что-то похожее на Золя – вызвала незабываемые впечатления. Старый шахтёр, старик, вывел товарищей из-под обвала через заброшенную шахту длинным, запутанным, опасным проходом, известным только ему. В конце, преодолев высокий, тяжёлый подъём, потребовавший всех сил старика, выбравшись на поверхность, он сделал несколько шагов, упал и умер, окружённый спасёнными им шахтёрами... Читал я ещё стихи Маршака, прочёл книжечку стихов Ломоносова. Продолжал читать в газетах сообщения о военных событиях, прочёл тогда «Науку ненависти».

В клети у хозяйки хранился всякий крестьянский скарб. Стоял большой пустой ларь, какие-то сундуки, коробки. На стенах висели хомуты, уздечки, другие части упряжи, пучки засушенных трав. С краю стояла картонная коробка, в которой оказались дореволюционные

журналы «Нива» и какие-то другие. Они были интересны, но открыто пользоваться ими я не решался. Спросить у хозяйки тоже не мог – тогда бы открылось, что я шныряю по хозяйским закромам, что, конечно, не понравилось бы ей. Но способ нашёлся. Наверное, раз в неделю, в базарный день хозяйка уезжала в город, чтобы продать на рынке своего крестьянского товару. Уезжала на весь день на санях, которыми правила сама. Я знал примерно, когда она возвращается и, оставаясь в избе только с Игорем, мог использовать это время с выгодой для себя. Клеть была закрыта на ключ, мне было известно, где он находится. Так я доставал стопку журналов и целый день читал и рассматривал их. В них были напечатаны интересные рассказы и повести. Там я находил такое, о чём знал только кое-что, понаслышке: картины дореволюционной жизни, портреты особ царствующего дома, генералов, вельмож, священнослужителей, виды городов и природы, иллюстрации к общественным событиям, а также репродукции картин знаменитых художников и весёлые, юмористические карикатуры.

В одном из журналов целую страницу занимала большая фотография: слева был виден ровный край шоссе, справа начинался лес, от шоссе в лес была положена ковровая дорожка, в конце которой, на раскладном кресле сидел Николай Второй. Щиколотка левой ноги его лежала на колене правой ноги, на них он держал ружьё. Подпись к фотографии сообщала: «Император Николай Второй на охоте в Беловежской Пуще».

Теперь это удивительно: как мог я в ледяной избе, покинув тёплую печку, долгие часы в одной рубашке просиживать за столом с этими журналами возле обледенелого окна?

Но время шло. Малиновое солнце раскрашивало морозный узор на окнах. Быстро собрав журналы, я относил их в коробку до следующего раза, закрывал клеть, вешал ключ на место, забирался на печь к Игорю, который всё это время занимался в одиночестве бедными нашими игрушками.

В другие дни, когда в избе оставались только мы с Игорем и у меня не было других дел, мы не слезали с печи, а я пел песни, может быть, доставляя этим некоторое развлечение и Игорю. Конечно, я пел «Гремя огнём, сверкая блеском стали...», «Всё выше, и выше, и выше...», «Раскинулось море широко...», «Белеет парус одинокий...», «Буря мглою небо кроет...», ямщицкие песни – знал довольно много, не всегда, наверное, полностью и точно, но пел старательно. Тяжелы и скучны были эти морозные дни. Когда же мороз ослабевал, я проводил время на улице, катаясь на лыжах с горы вместе с другими мальчишками. Игорь, как обычно, в такое время отправлялся к Прокудиным.

Кроме великого множества тараканов, мне довелось наблюдать там ещё и великое множество мышей, собравшихся в одном месте. Скирда, которую сложили после жатвы на поле, за нашей избой, зимой была свезена на колхозный двор. От скирды осталась подстилавшая солома, и в ней-то, на площади диаметром метров пять или семь, обнаружилось несметное количество мышей, которые устроили здесь свою зимовку. После того, как скирду убрали, оставшаяся солома уже не укрывала от холода, и мыши металась на этом пяточке туда-сюда, не обращая внимания на нас. Их было столько, что они карабкались и бегали друг по дружке. Среди них были и крошечные, только что рождённые мышата, на которых ещё не было шерсти, они были похожи на микроскопических бело-розовых поросят. Иногда здесь мелькал и более крупный зверёк, похожий на маленькую лисичку, но серой, мышиной, масти – ласка.

В лесу мы бродили с братьями Пойловыми, и неожиданно Валентин поймал ёжика. Я стал упрашивать отдать его мне – ёжик был такой симпатичный, хотя постоянно сворачивался в колючий клубок. Валентин не отдавал ёжика. В то время у меня было откуда-то пять рублей, и он продал мне ёжика за пять рублей.

Я принёс ёжика домой, пустил его на пол, пытался чем-то кормить, но он бегал по избе, нороя где-нибудь спрятаться, и всю ночь шумел и возился, мешая спать. Потому его пришлось выпустить в лес. А однажды я подобрал в поле раненого канюка. Это коршун – гроза куриного племени. Он постоянно летал над деревней. Как только куры замечали его, среди них начина-

лась паника, они прятались со своими цыплятами, где только можно. Тот, которого я подобрал во ржи, опереньем был похож на рыже-пёструю курицу, но с большими сильными крыльями, хищным клювом и когтистыми лапами. Из-за раненого крыла он не мог летать, сидел во ржи и беспрерывно канючил – издавал резкий и громкий звук. Я принёс его к избе, посадил под окном, на поле, где была ещё неубранная рожь. Не умолкая ни на минуту, он громко кричал, и его тоже пришлось отнести подальше от дома.

На порубке, на обломанной ёлке, на высоте метра три, я нашёл гнездо канюка. В гнезде были птенцы величиной с цыплёнка, в пуху сероватого цвета с желтинкой. Я взял одного из них, принёс домой. В это время у нас в каком-то ящичке содержались только что вылупившиеся цыплята. Я посадил к ним своего птенца. Он резко отличался от цыплят хищным клювом, забирался к ним на спину, захватывал их крючковатыми когтями, пищал, канючил, пытаясь выбраться из ящичка. Конечно, от меня потребовали, чтобы я убрал своего «цыплёнка». Кажется, я отнёс его назад, в гнездо.

Хозяйский кот – большой, полосатый, гладкий – был с причудами – ел огурцы, а на пруду ловил толстых зелёных лягушек, но не ел их, а душил и приносил во двор, будто для того, чтобы похвастаться своим подвигом. Летом мать и Игорь продолжали спать на полатах, я спал в клети, на полу. Под утро, после ночных прогулок на свежем воздухе кот приходил ко мне. Специально для него во входной двери с улицы и в клети были оставлены отверстия. Бодрый, нагулявшийся, хрумкая ещё от двери, он бежал прямо ко мне. Я выпускал его под покрывало, и уж тут он так изливался, так пел, так был благодарен за то, что я пригрел его возле себя. И так было каждое утро.

Работать в колхозе мать устроилась не в начале года, а ближе к концу, и когда по результатам работы за год стали выдавать на трудодни всякую натуру, ей досталось немного.

Колхоз имел большую кролиководческую ферму, и среди прочих натурпродуктов колхозникам полагалось ещё какое-то количество, по весу, кролика. Нашей матери начислили двести граммов и дали маленького крольчонка. Оказалось, что нам досталась самочка, и, значит, от неё будут крольчата.

Свободная клетка нашлась у хозяйки. Я стал растить свою подопечную, и скоро из неё вышла очень крупная, заячьего окраса, крольчиха. Я понёс её к женихам. На ферме их было много. Однако произошло необъяснимое: невеста отвергла всех представленных ей женихов. На какие ухищрения я ни шёл! Всё было напрасно! Потом она вырвалась из клетки, сбежала, я пытался ловить её. В общем, история с крольчихой так и закончилась ничем. А мне так хотелось иметь маленьких крольчат!

Кроме доставки из леса дров, я привлекался и к другим делам. Наша хозяйка, несмотря на то, что по возрасту не обязана была работать, выходила на колхозные работы, и ей начисляли на трудодни всё, что полагалось. Привозили возами сено, солому, сваливали их во дворе, перед сараем. Я забирался на сеновал, хозяйка снизу вилами подавала большие охапки, которые я укладывал так, чтобы пространство заполнялось экономно.

Ездили мы молотить пшеницу. Большой деревянный дом мельницы стоял у реки. Перед нами были помольщики из других деревень. Хозяйка отходила надолго, вела переговоры с мельником, подходила к другим повозкам, я оставался у телеги. Когда подошла наша очередь, мельник понёс мешок, лошадь хозяйка поставила у коновязи, мы прошли вслед за мельником. Внутри просторное помещение напоминало большой прибранный сарай, в одной стороне которого, скрытое разными приладами и надстройками, что-то грохотало. Мельник манипулировал агрегатом, поднялся по лесенке, засыпал зерно в приёмник, включил рабочее положение, и мельница заворчала уже другим тоном. Через некоторое время мельник открыл задвижку, из жёлоба в мешок, который держали мы с хозяйкой, посыпалась нагретая жерновом, мука.

Весной, когда коров выгоняли на пастбище первый раз, каждая хозяйка сопровождала свою корову. В первый день они вели себя беспокойно и при недосмотре могли поранить одна

другую рогами – бодались, брыкались, кидались бежать. В этот день хозяйка взяла меня с собой, и наша корова взбунтовалась. Мы ухватили её с двух сторон за рога, но она вырвалась и понеслась прочь от стада. Хозяйка и я бросились за ней. Это была бешеная гонка. Удивительно, что хозяйка в её годы и при всё-таки грузной комплекции выдерживала этот бег, хотя и отставала. Но и я не мог догнать беглянку. Лишиться коровы в крестьянском хозяйстве было настоящей трагедией. И однако мы упустили её, потеряли из виду. Бег пришлось прекратить, мы выдохлись, и к вечеру я вернулся домой. Хозяйка пошла уже просто шагом обследовать окрестности и наконец-таки, после долгих поисков, нашла свою кормилицу. Под самый вечер в каких-то зарослях послышался звон колокольца, который вешают коровам на шею. Бурёнка тихо стояла там и, наверное, думала: «Что я, дура, наделала?» Возбуждённость её улеглась, и хозяйка спокойным шагом в сумерках привела её домой.

Случилось несчастье на подворье самого Демидова. Оно представляло целиком крытый двор. Во время грозы в него ударила молния, тяжёлая балка рухнула на корову, которая стояла под навесом, повредив ей позвоночник. У коровы отнялись ноги. Её подвесили на верёвках к другим балкам. Собрался народ, соседи искренне скорбели, сочувственно ахали. Бедное животное смотрело на собравшихся, будто спрашивая: «Что же теперь будет со мной?»

С коровами был ещё один случай. Пастух погнал стадо на водопой. У берега реки росли деревья, и он не доглядел, как у одной коровы задняя нога застряла в развилке двух стволов. Она, видимо, долго пыталась высвободиться, но сама не могла этого сделать, выбилась из сил, упала головой в воду и захлебнулась.

Добыча и доставка топлива были важнейшим жизненным вопросом. В сарае прислонёнными к углу стояли брёвна отличного леса, но это был сберегаемый запас – такими дровами топили только печь и только зимой. В зимнее время я мог доставлять лишь сучья для буржуйки. Запас хороших дров нужно было пополнять. Для этого хозяйка брала меня с собой, и мы шли в лес с пилой и топором.

Крутогорье, на котором стояла наша слобода, продолжалось и за околицей. Справа от дороги оно понижалось и летом бывало засеяно рожью. После того как заканчивалось поле, по крутому склону в сторону речки шёл лес, состоявший, как обычно, из ели и пихты. На этом склоне крестьяне делали заготовку дров.

Мы отправились солнечным морозным днём. Было обычное безветрие, небо сияло холодной голубизной. Свернув с дороги, прошли до конца поля по насту, в лесу сразу же погрузились в сыпучий снег.

Единственной тёплой вещью на мне были большие рукавицы из овчины, которые дала хозяйка. Сама она была в своём полушубке, в нескольких платках и шерстяной шали, в валенках и рукавицах.

В лесу стояла звонкая тишина. Над засыпанными снегом деревьями цепенело бледное небо.

Хозяйка деловито и сноровисто выбирала подходящее дерево, несмотря на возраст уверенно двигаясь в глубоком снегу. Пилили, стараясь взять пониже. Она определяла, как и откуда пилить, куда будет валиться дерево. Пилили с одной стороны, потом с противоположной – до тех пор, пока, дрогнув, оно не начинало медленно падать. Не торопясь, мы отходили подальше. Огромное дерево трещало ломающимися сучьями, поднимая облако снежной пыли, после чего хозяйка обрубала сучья, привычно и умело управляясь с топором. Бревно распиливали на равные части, которые определялись хозяйкой кратными размеру пилы. Деревья были ядрёные, кондовые, потому тяжёлые. Одно такое упало точно по линии крутого ската. После того, как хозяйка обрубила сучья, оно вдруг двинулось всей тяжестью вниз по склону. Хозяйка находилась у вершины, бревно опрокинуло и потащило её вниз. Она старалась высвободиться, упереться, но сил не хватало. Находясь у комля, я схватился за сук, упёрся из всех своих сил, и мы остановили наше бревно. Распиленные части потом сложили штабелем. Их пришлось

подтаскивать снизу, поднимать, а они были тяжелы. Обрубленные сучья сложили аккуратно в одно место.

Деревню иногда посещали нищие, среди которых были как бы свои – те, что приходили не один раз, которых уже знали. С одним таким парнишкой я даже подружился. Худой, узкоплечий, желтовато-бледный, с добрым, слабым голосом, плохо одетый, в истрёпанных лаптях и с нищенской сумой, он производил грустное впечатление. Узнав, что я интересуюсь книжками, стал говорить, что дома у него есть интересные книги и он принесёт их мне. Я давал ему хлеба, который в это время уже был у нас, и он вдохновенно врал про книги. В следующий раз он говорил, что забыл, но обязательно принесёт, когда придёт ещё. Был он слабый и беззащитный, от его лица, тонких, бескровных рук веяло чем-то серьёзно больным. И хотя я не дождался от него никаких книг, вспоминаю его с сочувствием, представляя, как тщедушное, никому ненужное в мире существо брело в жалких своих одеждах пустынной и суровой зимней дорогой от деревни к деревне в надежде жалкой подачки.

Бывал в нашей деревне нищий мордвин, человек уже немолодой, странный, своеобразного облика: у него была очень большая голова и совершенно плоское лицо с узкими глазками. Он пел песню про то, как мылся в бане. Запомнился припев этой песни: «Я мочалком тёр, тёр, тёр, тёр...» и далее в том же роде.

Другим, кто несколько раз проходил нашей деревней, был молодой, сильный, красавец-татарин Соломон. Было ему лет восемнадцать-двадцать – хорошего роста, хорошего сложения, имел круглое приятное лицо, чистую гладкую кожу, большие карие глаза, чёрные татарские брови. Он носил за плечами большую связку изношенных лаптей и суму для подаяний. Деревенские мальчишки обычно празднично не болтались, все были заняты чем-либо у себя дома или в поле. Однако, когда приходил Соломон, к нему сбегалась вся деревня с одной лишь целью – поглумиться над безобидным парнем и тем развлечь себя.

Вот он зашёл к Прокудиным, в руке у него палка – посох. На крыльце он оставляет лапти. Во дворе у Прокудиных бочка с дождевой водой. «Для смеха» соломоновы лапти заталкивают в бочку. Соломон ещё не знает этого. Он сидит в избе на лавке – дружелюбен, улыбается, ждёт, что ему дадут хлеба. Взрослых в избе нет. У него спрашивают какую-нибудь глупость, он отвечает. Он уже мужчина – большой и сильный. Пацанва, которая его окружает, мельче, старшим лет четырнадцать-пятнадцать. Но они, как стая собачонок, норовят укусить – сзади, исподтишка, в лицо показывая лживое дружелюбие. Наскоки становятся всё злее, ему делают больно. Он быстро вскакивает, шагает к двери. Стая бросается за ним. На крыльце он ищет лапти, находит их в бочке. Мальчишки гогочут. Сзади ему делают ещё что-то. Он с силой и в ярости швыряет палкой, вызывая этим восторг своих мучителей, достаёт из бочки лапти, с которых потоками льётся вода, взваливает их на спину, восторг достигает апогея – всеобщий хохот. Иногда Соломона при его появлении окружают на улице. Предлагают снять штаны и поплясать, обещая за это дать хлеба. Он спускает штаны, обнажается срамной уд, следует безудержный хохот. Соломон пляшет, но хлеба ему не дают. И пока он идёт по деревне, торопясь покинуть её, стая не отстаёт от него. И каждый старается ткнуть его больнее, дёрнуть за лапти, и все хохочут. Соломон отмахивается палкой. Скорей! Скорей! Почему так недобры эти мальчишки?!

Соломон настоящий нищий – одежда его оборванная, убогая, он весь во вшах. Кто-то видел, как он сидел на лесной поляне, раздевшись донага, истребляя одолевавших его паразитов.

Я уже освоился с деревенской жизнью. Наравне с другими мальчишками катался на лыжах с горы. Было там ещё одно своеобразное средство для катанья – конёк. Это широкая плаха длиной в аршин, передний конец которой загнут и скруглён, как у лыжи. На противоположном конце вделаны две палки со скрепляющей перекладной, как ножки у скамейки, позади которых – площадка по размеру ступни. Конёк изготавливался на морозе. Нижняя

поверхность плахи обкладывалась навозом, перемешанным с соломой, поливалась водой в несколько слоёв, давая каждому слою замёрзнуть, выравнивалась, доводилась до зеркального состояния. Стоя одной ногой на плахе, отталкиваясь другой и держась за рукоятки, можно было здорово катиться и по дороге, и с горы. Кто-то из приятелей сделал и мне такой конёк, и я катался на нём.

При тамошнем климате, перед снегом, недели за две, мороз сковывал землю, и пруд превращался в идеальный каток. Мальчишки здорово катались на коньках, прикрутив их к валенкам. Коньки были школьные. Я тоже пробовал это катанье, но не вполне освоил, у меня была неподходящая обувь.

Летом было раздолье и больше развлечений. Из Ижевска мать привезла мне бамбуковое удилище. Случилась сильная гроза с ливнем, после которой мальчишки сразу же побежали с удочками на пруд – в этот момент рыба здорово клевала. Я прибежал со своей новой удочкой. Вода у плотины бурлила, и здесь собралось много таких же рыбаков. У меня клюнуло. Ташу и чую – огромная рыбина. Из воды показался лещ величиной с лопату. Вот он летит на крючке над водой, и тут ломается удилище. Лещ падает на землю у самой кромки, обломанный конец удилища оказывается в воде, пенистыми бурунами несущейся к плотине. Растерявшись, я бросаюсь прежде всего за ним, а в это время лещ, подпрыгивая на кромке – раз, раз, раз – и в воду, и был таков. И я остался и без удочки, и без улова.

Между тем шла ведь война. Раз, когда я с удочкой ушёл подальше от плотины, где обычно никто не рыбачил, на противоположном берегу появились двое: военный и с ним мальчишка. Военный, наверное, и сам был ещё мальчишкой. В армию ведь призывали семнадцати лет, а после трёхмесячных курсов давали погоны лейтенанта. И этот лейтенант стал стрелять из пистолета в мою сторону. Расстояние было метров сто, может быть, больше. Я не мог понять, в чём дело. Видно было, как он целился, звучал выстрел, и возле меня, шагах в десяти, в воде что-то булькало. Наверное, он расстрелял всю обойму и, видимо, так шутил, хотел попугать меня. Кто он был, откуда взялся, я так и не узнал, думаю, чей-то родственник из нижней слободы.

А однажды, когда я был на порубке, прямо надо мной, над самой землёй, пронеслось звено истребителей – единственный случай, когда я видел там самолёты. Обычно же небо было безоблачно и пустынно, только канюк кружил над деревней, наводя панику на куриное племя.

Шла молва, что в лесах появились дезертиры. Рассказывали, что, встречая кого-нибудь, они отнимали съестное и вообще были опасны. Время от времени по деревне ходила комиссия, обязанностью которой было искать дезертиров. В комиссию входили: председатель Демидов, наша мать, кто-то из бригадиров, конечно женщина. Ловить дезертиров никому не хотелось. Мероприятие проводилось чисто формально. Пускался широковещательный слух, когда, в какое время пойдёт комиссия, и, слава Богу, ни разу никаких дезертиров не было обнаружено.

Местное население, особенно школьники, постоянно жевало серу – жвачку, изготовленную из еловой смолы, о чём я узнал ещё от Юры в первый день нашего приезда. Собирали такую, чтобы она была не слишком молодой, тягучей, и не старой, затвердевшей, растрескавшейся. Складывали в какую-нибудь посудину и над огнём медленно доводили до кипения. Нужно было правильно определить момент готовности, не передержать на огне. Кипящую жидкую смолу выливали на тряпицу вроде марли, процеживали в воду, где она сразу затвердевала и приобретала цвет светлого шоколада. Если сера получалась удачная, она легко жевалась, не прилипала к зубам, делалась красивого светло-жёлтого цвета, имела приятный аромат, тянулась и здорово шёлкала во рту. Школьники жевали и во время уроков, что, конечно, не разрешалось. Учительница отбирала серу и выбрасывала в печку. Варил серу и я с кем-то из ребят возле родника, под горой. Развели костёр, подвесили над огнём котелок со смолой, процедили прямо в родник, где она тут же затвердела. Мелкие капли образовали красивые горошины. Изготовленная профессионально, она отливалась плитками, подобными шоколадным, и продавалась в городе, на базаре.

Замечательная в своём роде женщина, хозяйка наша, была сильная, выносливая не только телом, но и духом, работящая, немногословная, делала всякое дело основательно, аккуратно, любила во всём порядок. На таких крестьянах держалась Россия, и таких больше уж нет. В избе у неё всё было на своём месте. На окнах стояли горшочки с геранью и столетником, в кухне был ещё и фикус. Изба была оштукатурена и побелена, кроме потолка. Не было ни тараканов, ни клопов. Оставшись одна после смерти старика, пережив гибель младшего из трёх сыновей, она нисколько не изменилась в своих обычаях и привычках, в постоянстве трудов. Большой приусадебный участок был вспахан и засеян. При посадке картошки и всякого другого колхоз давал лошадь с плугом и пахарем, я тоже, как она научила меня, рассаживал по борозде картофелины. Сажать картошку помогала и наша мать. Каждый год хозяйка чистила хлев, удобряла землю навозом. Всё очень хорошо росло, давало обильные урожаи. Помимо картошки – капуста, лук, свёкла, огурцы, репа, морковь, подсолнухи, мак, а также ячмень, который предназначался курам. Амбар был полон мешками с пшеницей, рожью, другим зерном. В подполье хранились: картошка, овощи, яйца, продукты, получаемые от коровы. Свиней в тех местах не держали, была только колхозная свиноферма. Зато держали овец. У хозяйки их было четыре или пять. В положенное время она стригла их. Потом всю зиму пряла пряжу, вязала носки, варежки, перчатки. Связанные из немытой шерсти сначала они были серые, сальные, а после стирки – белые, пушистые, мягкие, необыкновенно тёплые.

Зимними вечерами во время прядения хозяйка сидела у окошка, куда светила луна. Мать, Вера и она о чём-нибудь говорили. Изредка хозяйка приподымала половинку зада, издавая выразительный протяжный звук – это было в порядке вещей и не нарушало мирного течения вечерних часов. Так должно было делать для облегчения организма. Была она плотного сложения, имела седые волосы, закрученные в пучок, дома и во дворе ходила с непокрытой головой. Лицо было большое, красное, нос крестьянский, широкий. Внимательные глаза всё видели, всё замечали. В деревне говорили, что она колдунья, хотя ничего похожего не было заметно. Думаю, говорили из зависти к её успешности и достаткам. Однако, помню, она высказала пророчество: в этой войне победит воин на красном коне, а в следующей победит чёрный воин.

Как-то я, видимо, ослушался строгого её «стювайся!», и она решила поучить меня ремнём. Я увернулся и стал убегать от неё вокруг печки. Поняв, что меня не догнать, она сделала вид, что потеряла ко мне интерес и, когда я забылся, подкралась сзади и всё-таки хлестнула меня разок, чем удовлетворила своё хозяйское самолюбие.

Конечно, она была скупа, прижимиста. Когда в погребе у неё портились ряженка или простокваша, она угощала ими нас: «Возьми, Васильевна, покушай». А однажды обнаружилось, что куры несутся в таком месте, откуда невозможно достать яиц – под амбаром, и она велела мне лезть в узкое пространство, где можно было и застрять. Я нашёл там три кладки и достал, думаю, более четырёх десятков яиц. Хозяйка решила вознаградить меня и долго перебирала добытые мной яйца, поднимала их к солнцу, просматривала на просвет, наконец, выбрала, видимо, самое плохое. Игорю, который стоял тут же, глотая слюнки, ничего не дала. Почему я не догадался припрятать с десяток?

У хозяйки бывали и гости – Суховы, муж и жена, оба лет пятидесяти или побольше, оба сухопарые, худые, соответствуя своей фамилии. Жили на производственной базе артели, служили там сторожами. Муж был участник предыдущей мировой войны, во время которой попал под газовую атаку, сильно пострадал, был почти слеп. Единственный сын их был на войне. Были они вполне милые люди, обладавшие некоторой интеллигентностью, но также редкостным свойством говорить, говорить, говорить. Особенно этим отличалась супруга. Муж, когда приходил один, мог и поговорить, и помолчать. Супруга же не умолкала ни на минуту. Едва появившись, тут же приступала к хозяйке с разговорами. Хозяйка ни о чём ни спрашивала, ни переспрашивала, занимаясь своими делами, шла в сарай, в огород, в клеть, ещё куда-нибудь. Гостыя не отставала от неё и всё говорила и говорила. Когда супруги бывали вдвоём, то и после

целодневных разговоров, в постели – бывшей хозяйина – продолжали шушукаться, казалось, всю ночь.

Помню, как, глянув в окно, выходявшее на поле, я увидел этого высокого, худого старика, шагавшего по выюжной дороге, пошатываясь, подняв кверху лицо, как это делают слепые. Он видел только свет и какие-то силуэты. Непостижимо, как он не сбивался с пути, – двадцать километров через поле и лес. Оба они беспокоились о своём сыне, о нём была постоянная их дума. Они соболезовали смерти нашего хозяйина и Василия. Уж не знаю, какова была цель их прихода за такие километры, часто зимой.

Бывал ещё за каким-то делом некто Аникин, знакомый нашей хозяйки – тщедушный, косоглазый, видимо непригодный для военной службы, державший себя, однако, мужественно, солидно. Ради него, как и для Суховых, хозяйка ставила самовар, зажигала керосиновую лампу. Человек был, видно, не злой, но имел черту показать себя, говорил так, как говорят с людьми несведущими – громко, учительно.

Раза два заезжала и Надежда Николаевна по ветеринарным делам. Для матери их встреча была в радость. А хозяйка и её достаивала самовара и керосиновой лампы.

Жить здесь мы начинали, когда у нас не было решительно ничего, никакого имущества. Но вот постепенно обжились, появилась какая-то одежда – конечно тряпьё. Дали нам клочок земли, и мы уже собирали урожай картошки, свёклы, моркови, репы. А когда Демидов принял мать на работу, мы были уже и с хлебом.

Среди различных занятий и забав по примеру других мальчишек я тоже завёл себе кресало и трут. Трут изготавливался из древесного гриба – вываривался, высушивался, обжигался. Кресало – небольшая, но массивная железная пластинка. Важно было, какой использовался кремень. В этих местах уже ощущалась близость Урала, и можно было прямо в поле найти какой-нибудь минерал. Я сам нашёл обломок серного колчедана, о котором сразу подумал, что это золото – он искрился мелкими золотистыми кристаллами. Нашёл образец галенита с его кубическими кристаллами тусклого свинцового блеска, находил разнообразно красивые образцы кремния. При ударе кресала о кремний искры вылетали ярким белым снопом, а при ударе о серный колчедан искры были тускло-красные, при этом шёл специфический, неприятный, запах.

Летом от школы мы получили задание заготавливать для госпиталей безлепестковую ромашку. Её нужно было тащить из земли с корнем, очищать и сушить в тени. Сколько-то этой ромашки собрал и я.

Любил я бывать на конюшне, смотреть лошадей, заходил в кузницу, подолгу наблюдал, как кузнец-старик раздувает горн, раскаляет до бела кусок железа, выковывает из него что-то, окунает в бочку с водой. Смотрел, как он подковывает лошадь – заводит в станок, закрепляет согнутую ногу и ловко приколачивает подкову.

Кузница стояла отдельно от деревни, возле пруда, перед плотиной, внизу глинистого обрыва. Отвесная верхняя часть обрыва была изрыта норками, в которых жили стрижи. Здесь они постоянно летали с визгом – красиво, стремительно, как пущенная стрела..

Шло лето сорок третьего года. Я знал уже всё окружавшее пространство, по-прежнему моим главным делом была доставка дров. В другое время я ходил на пруд, купался, присоединялся к деревенским мальчишкам. Но чаще уходил один – по малину, по грибы, иногда просто бродил, погружаясь в этот строгий, суровый мир, сливаясь с ним, переживая чувства, которых тогда не понимал.

С обрывистого берега речки, впадавшей в пруд, я наблюдал проплывавших там маленьких серебристых рыбок. В стайке их было сто или больше, а вода была хрустально прозрачна... А когда шёл берегом пруда, по самой кромке, передо мной одна за другой бултыхались в воду толстые зелёные лягушки.

Леса там были такие, что, чуть отойдя от мест, где я подбирал свою добычу, начинались настоящие дебри, глушь, куда никто не заходил. Там, на крутой холмистости, ель росла так плотно и так густо, что сквозь частые переплетения ветвей, мёртвых и сухих снизу, чуть проглядывали солнце и небо. Там стояла недобрая тишина. Валежник и бурелом преграждали дорогу тому, кто хотел бы сюда заглянуть. Но это не было ещё последней чертой, переступить которую означало бы покинуть дарованную благодать. Дальше открывался глубокий провал. Крутой склон уходил далеко вниз. Мхи покрывали упавшие друг на друга стволы, высасывая из них то, что ещё было остатками жизни и неминуемо должно было исчезнуть, рассыпаться прахом. Плотным покровом ложилась на землю мёртвая хвоя. Сумрак, молчание, ни малейшего дуновения, ни звука, – вечная безысходность, без какой-либо надежды.

Только приблизившись и только коснувшись черты, за которой таилось небытие, смутно пережив неизбежность уничтожения живого, превращения его в ничто, я возвращался к солнцу, к зелёным полянам, испытывая освобождение, чувство, подобное благодарности, не знаю, кому и за что.

В другое время я ходил по малину, забирался в малинник, необозримо покрывавший пологий склон широкого оврага. На шее у меня висел небольшого диаметра тусок, я клал туда ягоду за ягодой. Душистой и сладкой была лесная малина. Малинник перемежался зарослями жгучей крапивы. Там и сям среди них возвышался муравейник. С безоблачного неба палило солнце, стояло обычное безветрие, а, значит, ничем не нарушаемая, однако живая, добрая тишина...

Долгие часы, оставаясь один в этом первобытном, довременном мире, собирая ягодку за ягодкой, иногда я прерывался в своём занятии, чтобы прислушаться, оглядеться, увидеть... И я всё время думал о покинутом доме...

Неожиданно мне захотелось испробовать колхозных работ. Рано утром мать передала меня бригадирше, молодой женщине, которая отвела меня в поле, где нужно было дёргать лён. Обозначив мою делянку, она показала, как дёргать, как делать вязку, снопики, составлять из них копенки. И я узнал, что такое крестьянский труд.

Очень скоро спина моя начала разламываться и трещать, и когда становилось невмоготу, я делал на земле валик из снопиков, ложился на него поперёк, пытаюсь разогнуть спину, лежал так, глядя в небо, и снова принимался работать.

Лён сильно пророс сорняками, из которых самым противным был колючий пустырник. Руки мои стали бурыми, исколотые мелкими колючками.

Лето было на исходе, но день всё ещё был солнечный, жаркий. Я работал один, возле меня не было никого. В полдень обедал куском хлеба с картошками в мундирах и проработал до самого вечера. Домой приплёлся весь изломанный, разбитый и на следующий день малодушно дезертировал. Однако моя работа была учтена – мне зачли полтрудодня, за которые я что-то и получил, кажется, молока. Наверно, литр. Не помню.

Зимой уже сорок четвёртого года по деревне разнеслась весть: приехало кино! Вечером в правление колхоза сбежались мальчишки. Показывали английский фильм «Повесть об одном корабле». Комната, где мы собрались, была битком набита – всё только мальчишки. Сидели на полу, я – перед самым экраном. Размер его был, наверное, метр. Звук, конечно, не было, но было и так всё понятно. Моряк с потопленного фашистами корабля оказался в море один. Чтобы фильм шёл нормально, нужно было крутить и ленту и динамо, подававшее электричество. Охотников на это было достаточно. Фильм шёл частями, между которыми был перерыв для смены кассет. Впечатлений было море.

Вскоре после этого в сельсовете выступали артисты. Снова это вызвало возбуждение среди мальчишеской массы. Сельсовет находился километрах в семи. Собрались мальчишки из окрестных деревень. Шли гуськом через заснеженное поле. Был небольшой морозец при обычном безветрии, светила луна. На снежном покрове было светло, как днём.

В сельсовете комната была побольше и тоже полна народом. Передние зрители, среди которых был и я, тоже сидели на полу. Артистов было двое – мужчина и женщина. Разыгрывались сценки по чеховским рассказам. Часть комнаты была отделена от «зала» тряпичной ширмой, за которую артисты уходили в перерывах между сценками. В памяти осталось, что это было интересно, талантливо, здорово. Незабываемое впечатление тех дней!

В деревне жил разный народ. Дедушка Микрюков – весь белый, с белой бородой, ласковый и добрый, с палочкой в руке, часто сидел на лавочке возле своих ворот, улыбался, смотрел зоркими глазками, что-то говорил, когда, бывало, проходишь мимо. Другой старик, покрепче, Крюков, всё лето изо дня в день ловил на удочку лещей. Говорили, налавливал по пятьдесят штук за день, и всегда сидел на одном и том же месте. Мальчишки усаживались вблизи от него, но никому не удавалось даже приблизиться к такой удаче. Был ещё Вася Семёнов – сильный, здоровый мужик лет пятидесяти, хромой. В Первую мировую войну пуля попала ему в колено, отчего нога перестала сгибаться. Вася был мужик-жила, из тех, которые не упустят и копейку. Был хитрый, себе на уме, всё видел, всё понимал, советскую власть, конечно, презирал и всегда готов был где-то что-то урвать, прихватить. Он был рыбак другого рода, чем старик Крюков. Пруд был колхозный, рыба в нём тоже была колхозная. Удочкой ловить можно было каждому. Вася же делал то, что было настоящим разбоем. Ночью выезжал на лодке на середину пруда, ставил сети и боталом загонял в них рыбу. Говорили, налавливал два-три мешка. Все это знали, но никто не связывался с ним. Колхозная работа Васи состояла в том, что где-то что-то он сторожил.

Как-то из города опять приехал Юра. Он предложил сходить по малину. Мы взяли котелки и отправились в лес. Наш путь проходил мимо поля, засеянного горохом, который к этому времени созрел. Мы решили немного полакомиться им, а за одно, тут же справиться некоторую нужду. Так мы сидели, мирно беседуя, делая сразу три дела. Вдруг, как из-под земли: «Стой, стрелять буду!» Неведомо как перед нами возник Вася, направив на нас ружьё. Юра мгновенно дал стрелача в сторону дома. Я же под дулом направленного на меня ружья оцепенел на месте, поддерживая рукой штаны. Отобрав мой котелок, Вася отпустил меня.

Оставшись один, от обиды и досады, от чувства вины – как отчитаться перед хозяйкой за котелок, который, по-видимому, пропал, – я до вечера бродил по лесу, переживая случившееся. Когда же пришёл домой, первое, что увидел на столе – свой котелок. Юра за это время отбыл в город. Надо мной слегка посмеялись. Видимо, Вася красочно живописал происшедшее. Был он наблюдательный, сметливый и не без яда.

В колхозе работы начинались рано. Бригадирша стучала в окно чуть свет. В поле выгоняли коров и овец, шли к тем работам, которые подошли. Пахали, сеяли, косили, жали, молотили, свозили в хранилища, в скирды, в стога. Работали на конюшне, на свиноферме, с кроликами. Работали и на своих усадьбах. Разные были семьи, по-разному работали, и достатки были разные, но, кажется, в деревне никто не голодал.

Наступало время жатвы, и у нас под окнами, за околицей, собирались жнецы. Событие было такого же значения, как и то, когда выезжали пахать. Это было как праздник. Мужчины управляли конными жнейками, женщины собирали сжатые колосья в снопы, ловко и быстро скручивали свясла, делали вязку, ставили копны. Работа шла споро, весело.

Снопы свозили на колхозный двор, а некоторую часть складывали тут же, на поле, в скирду.

С некоторыми ребятами я немного дружил, бывал у них дома. Ванька Пасынков – добродушный, круглолицый, песельник, знал множество частушек, из которых пел с особенным задором:

Моя новая котомочка
На лавочке лежит.

Неохота, да придётся
В Красной армии служить.

Стежкин Витька – боевой, смелый, любитель подраться. Прокудин Лёнька – вроде бы покладистый, незлой, на самом деле ненадёжный, готовый обмануть. У Прокудиных всё время пропадал Игорь, когда я не брал его с собой. Были ещё Демидовы, Пойловы, а ближе всех оставался Колька Бельтиков – коварный и недобрый, с зелёными в хитром прищуре глазами, с кривящейся улыбкой, всё как будто соображавший в уме, что бы сделать этакое такое. Он жил с матерью и бабкой. Все они были немного с придурью, любили пошуметь, покричать. Зимой, при любой погоде и любом морозе, утром на крыльцо в одной рубахе выскакивал Колька и прямо с порога пускал струю. После Кольки появлялась мать, тоже в одной рубахе, и тоже пускала струю, задравши подол, изогнувшись передом. Наконец выползала бабка за тем же самым и опять в одной рубахе, только уже выставляла обнажённый зад. За зиму у крыльца вырастала жёлто-зелёная ледяная гора.

На деревне эту семью не любили, а мальчишки не любили и Кольку. Его как будто даже били, и наверное, потому он никогда не бывал ни в каких компаниях. Однажды зимой он выскочил на улицу с ружьём. Он часто хвастался им, но стрелять не умел. В этот раз ему вдруг захотелось пострелять снегирей, стайкой слетевших на дорогу. Зарядив ружьё, прицелился, щёлк – осечка, щёлк – осечка. Начал возиться с патроном, всё щёлкал, и всё была осечка. Немного думая, бросился домой, схватил молоток. Вернувшись на дорогу, отодвинул затвор и трахнул молотком по патрону. Раздался выстрел, вылетевший патрон ударил в затвор, затвор вылетел – прямо в лоб Кольке. Удивительно, но как-то ему это обошлось. Может, вышибло последние мозги, но остался жив, долго потом отлёживался дома. А там, где произошла трагедия, большая глыба снега напиталась Колькиной кровью.

Среди ничем непримечательных деревенских будней из города докатилась весть, неожиданная и жуткая. В город из деревни приехал колхозник продать своего крестьянского товару. Там у колхозника была родня – начальник районной милиции, в доме у которого он остановился, а распродав свой товар, заночевал. После удачного торга у колхозника оказалась некоторая сумма, которую он там же, в доме родственника, не таясь, пересчитал. Утром он выехал домой, а на дороге, сразу за городом, подвергся нападению разбойников. В него стреляли из револьвера, ранили, однако, погнав лошадь, он избежал смертельной опасности. Подобное на Руси случалось и раньше. Взволновавшая особенность происшествия состояла в том, что разбойниками были сынки: начальника милиции, секретаря райкома партии, председателя райисполкома, кого-то ещё из той же элиты. Все мальчишки были учениками то ли девятого, то ли десятого класса, все друзья-приятели. Организатором был сын начальника милиции, видевший, как деревенский родственник пересчитывал свои деньги.

Занятия в школе велись по часам, которых, однако, не было в наличии. Часы имелись в соседней избе, и учительница каждый раз посылала меня узнать, который час. Изба эта была уже немножко дом. Стены в горнице были оклеены обоями. Был комод с какими-то на нём украшениями, хороший стол, венские стулья. Стену украшали какие-то картинки, а также часы в футляре, с большим маятником. О хозяйке нельзя было сказать «старуха», но – старая женщина. Она была высокая, степенная, одетая по-крестьянски, немножко и на городской манер. Иногда хозяйки не было в доме, и я сам определял время. Но однажды здесь появились новые люди: женщина, старушка и двое детей: девочка и мальчик.

Женщина была как будто больна, всё время лежала на кровати, старушка чаще всего отсутствовала, дети находились возле матери. Девочка была примерно моего возраста, мальчик – лет шести. У девочки были голубые глаза, она была красивая, но имела странно большой живот, одутловатое лицо. Мальчик тоже был с большим животом. Эти родственники хозяйки

дома были ленинградские блокадники, вырвавшиеся оттуда каким-то чудом. Были они странно тихие, серьёзные, постоянно молчаливые. Что такое Ленинградская блокада, я узнал потом.

И женщина, и дети не выходили на улицу. Старушка же стала показываться на деревне и неожиданно появилась в нашей избе. Ещё более неожиданным оказалось, что она пришла именно ко мне. В руках она держала стопку небольших, нарезанных в одном формате листочков плотной бумаги. Она узнала где-то, что я художник, – таково было суждение обо мне, – и попросила нарисовать ей карты. Художник я был кое-какой, но взялся выполнить этот заказ. Я нарисовал все значки, но фигур не стал рисовать, поленился, а просто написал: валет, дама, король. Старушка была крайне огорчена моим упрощённым исполнением. Мне было стыдно и жалко её, кроткую, худенькую, в тёмных одеждах, с большими, печальными, бесконечно добрыми глазами. Можно было почувствовать, как она была красива в молодости. У неё был тихий голос и какая-то очень красивая, правильная речь. Она собиралась гадать о судьбе сына – моряка, капитана, отца тех девочки и мальчика. На самом деле было известно, что он погиб, но старушка рассказывала всем, какой он красивый и замечательный сын и что он скоро вернётся. И, кажется, она ни о чём больше не думала и ни о чём другом не говорила.

В пруду кто-то выловил больших окуней и прямо на берегу выпотрошил их. Среди внутренностей оказались проглоченные окунями небольшие рыбки. Такую рыбу есть нельзя, хотя на вид она кажется вполне пригодной. Старушка, познавшая голод блокады, подобрала эти рыбки, в каком-то виде поела их и чуть не умерла.

Пока в школе шли занятия, я каждый день приходил в этот дом узнавать время. Там, на столе, я увидел большую, с картинками, книжку «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Я попросил почитать, и девочка дала мне её. Книжка мне очень понравилась. Читая её, я думал и о девочке – молчаливой, красивой, печальной.

Летом они с братом стали приходиться к пруду, но не спускались к воде, где рыбачили мальчишки, а оставались на горе, среди высоких, тенистых лип. В траве там росли цветы, деревца волчьих ягод. Сестра и брат сидели отрешённые, странно серьёзные – пришельцы из мира, о котором мы ничего не знали. Отыскав несколько веточек с ягодками земляники, нарвав каких-то цветочков, я поднимался к ним с этим приношением. Принимая его, она благодарила слабым своим голосом, чуть заметно улыбалась. Я рассказывал, какая рыба водится в пруду, какие здесь леса, какие в них живут звери, какие растут грибы и ягоды. В глазах, которые она изредка поднимала ко мне, я встречал тепло и чувствовал, ей хочется, чтобы я приходил ещё.

Однажды в деревне появился гадатель. В блюдечко с водой он сыпал золу и опускал кольцо, в которое нужно было долго и пристально смотреть. К гадалке сбегалась вся деревня. Мать тоже пошла погадать. На дедушку вышло: голова и лицо, занявшие всё колечко. Глаза у дедушки были закрыты, он был неподвижен. На бабушку получилась картинка: маленькая движущаяся женская фигурка возле шалаша. Предсказание оказалось верным. Потом мы узнали, что дедушка был мёртв, бабушка была жива, но дом сгорел, о чём намекал шалашик.

Наступил день нашего отъезда. Был март сорок четвёртого года. Накануне хозяйка позвала меня пилить те брёвна, которые она берегла, как неприкосновенный запас. Теперь она хотела как можно больше заготовить дров на будущее, используя в моём лице работника, которого лишалась.

Мы пилили целый день – не на козлах, а на лежачей колоде, всё время находясь в склонённом положении. У меня ломило спину, темнело в глазах, но хозяйка подтаскивала всё новые и новые брёвна. Лес был крепкий, ядрёный. Я уже терял последние силы, в глазах стоял туман, а женщина, которой было за шестьдесят, не знала устала. Волей-неволей мне пришлось выполнить и этот урок.

Наконец настал этот день! Как долго я ждал его! Как долго думал о нём! Хозяйка говорила матери: «Оставайся, Васильевна, будем жить вместе». Но душа рвалась: «Скорей! Скорей!»

Последний раз я пришёл в школу и последний раз зашёл в дом, где узнавал время. Хозяйки не было, старушки, которую я так обидел, тоже не было. Женщина по-прежнему лежала за ситцевой занавеской, молча, отчуждённо. Мальчик был возле неё. Девочка встретила меня. Мы подошли к столу. Я сказал, что завтра мы уезжаем. Она наклонилась к книжке, которая лежала перед ней, будто что-то смотрела, водила пальцем, долго молчала. Потом подняла свои прекрасные глаза. В них стояли слёзы.

– До свидания, – чуть слышно прошептала она...

Стояла оттепель, первая за все эти годы, в то время, когда ещё должен быть мороз.

Подъехала лошадка, запряженная в сани. Возчик руководил погрузкой. В сани положено сено. Мы одеваемся в дорогу, складываем свои пожитки. Среди них самое главное наше богатство – сколько-то пудов прекрасной пшеничной муки, полученной матерью на трудодни – заслуга и преступление Демидова. Всё готово. Хозяйка роняет скупую слезу. Кажется, и Вера тоже.

Сани тронулись, лошадка пошла – вниз, мимо Прокудиных, мимо Колькиной избы, мимо школы, мимо дома, где осталась грустная ленинградская девочка. Я смотрел на окна, ждал, но она не показалась.

Сани пошли к скотному двору и конюшне, через мосток, по нижней слободе – впереди поле, холмы, леса и бесконечные снега, под небом, непривычно затянутым неподвижными, отсыревшими тучами...

Покидая суровый тот край, я не мог сдержать воображение – оно бежало вперёд. Долгие дни я вспоминал любимый город, думал о покинутом доме, о тех, кого оставил там. Я видел их в снах. А то, что было моей жизнью здесь, оно было чуждое и чужое. Я думал, что забуду его навсегда. Но нет, оно остаётся. Воспоминания делаются ярче. Приходят чувства, которых вроде бы не должно быть. Вспоминается всё, что дарило крупицы счастья, которого тогда я не сознавал. Даже тот эпизод крестьянского труда, показавший, насколько это за пределами детских забав, даже в нём вспоминаю теперь не ноющую спину, не исколотые руки. Вспоминается то материнское от земли, чем она приводит любить её, привязывает, принимает к себе... то, когда, давая отдых натруженным членам, лежал я, распластавшись под небом, полным любви и покоя, утопая в его глубине, пронизанной золотыми лучами...

Вспоминаются вечерние часы возле раскалённой печурки, разговоры матери, хозяйки, Веры, притихший братишка, и за окном сказочная ночь...

Втроём, только что обретя новое пристанище, бродили мы вечерами среди порубки, собирая ягоды и грибы... А ещё: строптивая Дочка, выбросившая меня из тарантаса на дорогу. И опять: запахи, которые шли от поля, от старого тарантаса, от лошади, открывавшиеся просторы этой земли, среди которых так редко увидишь живую душу, и дорожный шум под колёсами трав, полевых цветов, сопровождающий в долгом пути...

Мрачные леса, подступавшие к деревне с разных сторон, сдержанно машут из дебрей своими мохнатыми лапами, тревожна, таинственна живая тишина, которую оберегают они...

Два человечка пробираются со своей телегой, нагруженной выше высоких бортов брёвнами и брёвнышками, мимо пней и навалов валежника, среди трав, зарослей малинника и крапивы. Первый из всех сил, с трудом, толкает тележку. Второй плетётся сзади, подбирает что-то в траве, срывает цветы. На дороге оба они скрываются среди высокой ржи, останавливаются, чтобы передохнуть, слушают тишину, шёпот колосьев...

Вспоминается и девочка... те неожиданные слёзы... и внезапное, никогда ещё не испытанное, первое в жизни – расставание...

А мать? Было бы всё это, как оно было, и вообще – было бы, если бы не она? Энергичная, стойкая, не терявшаяся в обстоятельствах, которые многих сломили.

В тот день, когда мы покинули свой дом и наш город, прибежав с работы, она объявила о нашем отъезде. Бабушка помогала собраться. Вещей взяли только для Игоря – небольшой

чемоданчик, выезжали ведь на три дня. На перроне не протолкнуться, паника, куда-то бросающиеся люди, сцены прощанья, слёзы, чьи-то вскрики. Бабушка оставалась совсем одна...

Сколько мы ехали! На больших станциях, где оказывалось одновременно несколько эшелонов, собирались тысячные толпы. Все сразу бросались в поисках пропитания при постоянном страхе, что поезд может уйти в любую минуту. Мы тревожились за нашу мать. И она возвращалась и что-нибудь приносила. Миновав территории, подвергавшиеся налётам и бомбёжкам, поезд всё шёл и шёл. Иногда он двигался так медленно, что, кажется, это была скорость обычного пешехода. Мимо раскрытого пульмановского проёма проходили просторы России. Распластавшись на полу в сумраке мерно подрагивавшего вагона, беженцы молчали. Спали? Думали невесёлую думу? В сиреневых сумерках над горизонтом поднималась луна – огромная, красная, молчаливая, будто чьё-то око, знающее всё и про всех. Как замороженные, мы следили за ней...

Это только благодаря матери мы не познали той крайности, в которой оказались многие и многие в те годы. В деревне её признали, к ней отнеслись уважительно...

Вот мы катимся в тарантасе среди полевых просторов, вот собираем ягоды, грибы, вот едим гороховый суп, в то время как в столовой гам и шум, и очередные едоки ждут, когда мы освободим место. Вот мать читает Псалтирь, вот уезжает на целый месяц. Мы с нетерпением ждём, когда она вернётся. Или – мы вскапываем тот клочок земли, на котором вырастим первый наш урожай.

В день рождения она дарит мне альбом, который втайне готовила долгие дни. Это канцелярская книжка, для которой она смастерила картонную обложку. Страницы украсила аппликациями, вырезанными откуда-то картинками, написала стихи ровным, бегущим почерком, сделала пожелания...

Но всё имеет предел. При последнем нашем свидании это была старая женщина, седая, с лицом пепельно-землистым, отразившим страдания многих месяцев жестокой болезни, с блеском железных зубов из-за усохшей кожи, с чёрными провалами исстрадавшихся, когда-то голубых, глаз. Исчезло очарование молодой женственности. Я держал сделавшуюся маленькой и бессильной старушечью ручку. В другой был комочек платка, которым она время от времени утирала глаза, уголки рта. Куда смотрела она? Что видела перед собой?..

Долгое молчание покрывало всю прошедшую жизнь. Продолжая смотреть в неведомое, она вдруг сказала:

– А помнишь, какая была луна?..

Так подходила к своему завершению простая человеческая жизнь...

В солнечной тишине

На холме, среди колеблющихся трав, мы оставались одни – о чём-то говорили, о чём-то молчали...

Нила была как и все мы – мальчишки, девчонки... Нет, другая – лучше. Карие глаза, скользящие в улыбке книзу, прятали такое, что заставляло думать о ней. Чёрные волосы, чёлка и взгляд... Она так смотрела и так улыбалась, что это связывалось с теми словами из репродуктора, с тем, чего ещё не было, но будет...

Михель всё что-то искал, спускался к реке, кричал оттуда. Думал ли я, что день этот и всё его очарование пройдут, и многое другое тоже пройдёт? Только в сознании неотвязно повторялось – грустью или счастьем?.. или тем и другим вместе?

Пусть дни бегут, пусть идёт за годом год...

С вершины холма открывались заречные просторы. Там, на другом берегу, под ветром волновались берёзовые рощи, всё мельче лепетали ивы, зеленели луга. Зыбкие горизонты за ними тонули в сияющем далеко.

От подножья холма река поворачивала вправо. Холмистость в той стороне понижалась. Вдоль берега тянулись заросли верболозов. В отдалении, уже не скрытые ими, виднелись насыпь и мост, по которым проходил воинский эшелон – платформы с танками и орудиями, теплушки, в проёме которых, перекрытом доской, теснились солдаты.

Но, странно: солнце и тишина, а рядом военная гроза – они существовали в одном и том же пространстве, в одни и те же дни цветущего июня. Две стихии, никак не соединимые в одно, всё-таки составляли единую повседневность. Но когда той, устрашающей, не было вблизи, начинало казаться, что нет уже войны, что тишина солнечных дней наконец утвердилась над миром...

Солнце и тишина... Они сопровождали нас на лесной дороге, когда мать и я шли с таяками в руках, и она рассказывала о прошлом, о Гражданской войне, о том, как один из братьев, больших озорников, натаскавший домой военных припасов, всё что-то проделывал с ними и едва не застрелил её – пуля прошла совсем рядом...

К полудню солнце начинает палить отвесными лучами. В воздухе распространяется смолистый запах сосны. Дорогу горбят корни старых деревьев. Вдоль неё, уходя в лесные глубины, землю покрывают папоротники, мхи, вереск, мелкие заросли черники... Такой чудесный день, небо над нами, эта дорога... Так много интересного в прошлом, об этом хочется слушать и слушать. Хочется знать про то, что было когда-то.

За лесом открывается поле. Простираясь далеко в разные стороны, поделённое на участки по десять соток, всё оно засажено картофелем, который уже порядочно вырос. На своём участке мы окучиваем его, дёргаем сурепку, осот. Большинство дольщиков уже обработало свои грядки, и на всём поле, кроме нас, никого. Мы совсем одни, с нами только солнце да жаворонок и тишина. Удивительная, неожиданная – тишина, вспоминая которую, только сейчас постигаешь её...

Конечно, работать таячкой, пригнувшись к земле, не очень приятно. Куда как лучше было бы купаться с ребятами в сажалке, валяться на траве, играть в ножичек или чижика. Здесь всё-таки скучно, солнце нещадно палит и ноет спина...

И вот, через столько лет вспоминаются тот холм, солнечные дали, то, как откуда-то снизу звенел мальчишеский голос Михеля, и она – красивая девочка Нила; мы – только вдвоём... Вспоминается лесная дорога, рассказы матери... Теперь никто не доскажет и не у кого спросить о том, что было недоговорено... Возникает видение бескрайнего поля под мирным небом,

откуда вместе с горячими лучами льётся бесхитростная песенка крохотной птахи... Солнечная и жаворонковая тишина, странная среди военных тревог, думая о которой, погружаешься в океан мучительного счастья... Или печали – о том золотом, прекрасном?.. О том, что прошло?..

Странный человек был Иван Иванович. Мы поселились у него в конце марта по возвращении из эвакуации. Стояла промозглая, слякотная погода. Раскисший снег превратился в водянистый кисель, дул сырой, порывистый ветер. Показав комнату, где мы должны были располагаться, Иван Иванович тут же исчез.

В доме было холодно. Мать приготовилась затопить плиту. Дрова в наличии имелись. Нужно было открыть вьюшку, но её не было нигде. Обшарили всю печь – нигде ничего. Комнаты и кухня были оштукатурены, побелены. Печь тоже была побелена, лишь в той части, где проходил дымоход, побелки не было, а было это место аккуратно замазано глиной. Вьюшки так и не нашли. Решив, что печь устроена как-то по-особенному, стали растапливать прямо так. Дым сразу повалил наружу. Топку пришлось остановить. Так мы и сидели – в холоде и в дыму – и не знали, что делать. Ивана Ивановича простыл и след.

Явившись после долгого отсутствия, он быстро ввёл нас в курс дела. Вьюшка, оказывается, находилась в той части, которая была замазана глиной. Для топки каждый раз Иван Иванович отбивал её молотком, а протопив и закрыв вьюшку, размачивал ту же глину, снова замазывал ею дымоход, и так поступал каждый раз.

Странности Ивана Ивановича на этом не заканчивались. Дом имел две половины, на одной из которых жила его мать, неслышная, словно тень, кроткая старушка, с которой он как-то странно общался, то есть почти не общался, и постоянно куда-то надолго исчезал.

Был он, конечно, не вполне нормального рассудка. Лет ему было сорок или пятьдесят. С виду крупный и крепкий мужчина с громовым голосом, почему-то пребывал в неугасимом возбуждении, всё время двигался, готовый к какому-то, может быть, даже страшному поступку. И всё ораторствовал, скандировал, обращаясь к кому-то, к каким-то людям, которым доказывал, что он не боится и презирает их, потрясая при этом левой рукой, на которой ровно, по диагонали были отрублены четыре пальца:

– Вот что я сделал! Я им доказал! Я не боюсь их!

В этом возгласе слышалось что-то трагическое, страшное, как будто задавленные рыдания о загубленной жизни.

Внутренне он был постоянно в схватке со своими врагами. И всё время исчезал куда-то надолго, часто не ночуя дома. Однажды он попросил мою шапку, чтобы куда-то сходить в ней. Вид её и, главное, цвет имели какое-то символическое значение для него:

– Я докажу им! Пусть знают! – громыхал он, резко вышагивая по комнате, жестикулируя, сжимая кулаки.

Шапка имела самый жалкий вид: вата за подкладкой свалаялась комьями, одно ухо настойчиво торчало вверх, другое висело с изломом. мех был скорее желтый, но с коричневым оттенком, и, кажется, именно в этом для Ивана Ивановича заключался какой-то ненавистный смысл. Надев шапку, он куда-то надолго исчез.

Разумеется, ни жены, ни детей у него не было, а у меня осталось знание, что был он в заключении, в лагере, и там, чтобы показать, насколько он презирает своих мучителей, на глазах у них отрубил себе пальцы.

Постоянно отсутствуя, Иван Иванович нас не беспокоил. К тому же к нам, особенно к матери, относился вполне дружелюбно, не стесняя никакими хозяйскими правилами или требованиями. Их у него не было вообще.

Мать стала работать бухгалтером в железнодорожной организации, как она работала перед войной. Жизнь приобретала возможную в тех условиях устойчивость.

Я пошёл в школу – в том году я заканчивал четвёртый класс. Жанну мать отводила к нашим знакомым, землякам, с которыми мы вместе покидали наш город в сорок первом году

и вместе возвращались из эвакуации. Они тоже квартировали в частном доме, недалеко от нас. Старушка из этой семьи присматривала за своими внуками и, пока я был в школе, соглашалась доглядеть и Жанну.

Школа находилась недалеко от железной дороги, на другой стороне станции, ходить надо было по переходному мосту. Она была кирпичная, одноэтажная, давней постройки. Её окружали старые тополя, был большой двор с устройствами для спортивных занятий. Во дворе, перед началом уроков, все классы выстраивались на зарядку.

В классе ученики отнеслись ко мне с доброжелательным интересом: кто я? откуда приехал?

Одним из предметов был украинский язык. И хотя я не знал его, учительница – сухонькая старушка, строгим квохтаньем своим напоминавшая курицу-наседку, – заставила меня учить и литературу, и язык. И я учил: «Осэл убачив соловья...» Самым знаменательным примером моих успехов стал диктант, которым я развеселил весь класс. В нём я сделал примерно полтора десятка ошибок. Старушка получила редкое удовольствие, исчеркав его красным карандашом.

С некоторыми учениками я подружился. Нищенко, отличник, серьёзный и положительный, позвал меня домой, показал большую, в аккуратных альбомах, коллекцию марок, среди которых были немецкие, в том числе с портретом Гитлера. Дом был интеллигентный, несколько комнат, уютно обустроенный. Нищенко спросил, пионер ли я, а узнав, что не пионер, был удивлён. Все ученики в классе были пионеры, хотя и побывали в оккупации. Он не мог понять, почему я, который жил на советской территории, не был пионером. Я и сам не знал почему.

Другой товарищ, дома у которого я побывал, показал коллекцию птичьих яиц, назвал птиц, чьи они были, объяснил и рассказал, как он отыскивает их в гнёздах, как отсасывает содержимое и сохраняет хрупкие скорлупки. Яички были все маленькие, но разной величины и разного вида, с крапинками, различной расцветки, были аккуратно размещены в специальных коробочках. И дом, и товарищ тоже понравились мне.

Снег сошёл, наступило тепло, всё вокруг зазеленело. Мальчишки, пережившие оккупацию, шеголяли солдатскими пилотками и галифе, которые они как-то ухитрились носить, хотя размер их намного превышал габариты такого героя. Эти ребята, близко повидавшие войну, держались независимо, солидно, однако без бравады, просто и серьёзно, как настоящие мужчины. У них не было отцов, у иных не было и матери. Один из таких самостоятельных хлопцев, в галифе, сидел за своей партой возле раскрытого окна и периодически, когда старушка копошилась в журнале, кое-как управляясь с покалеченными очками, выпрыгивал наружу и уходил по своим делам. Оторвавшись от журнала, учительница спрашивала тревожно:

– А где Хоменко?

Хоменко, который только что был здесь, отсутствовал. Позже, может быть уже во время другого урока, Хоменко тем же способом возвращался на своё место. Старушка поднимала очки, и – чудо! Отсутствовавший Хоменко преспокойно сидел там, где его только что не было. Изумлённо глядя на него, она, возможно, начинала сомневаться в своём рассудке.

Война шла совсем близко. То и дело появлялись немецкие самолёты. Со станции паровозными гудками подавался сигнал воздушной тревоги. Самолёт летел высоко. Зенитки поднимали поспешную стрельбу. Стреляли в основном мимо.

Жили мы недалеко от базарной площади. Рядом, в довольно большом двухэтажном здании, размещался госпиталь. С наступившим теплом проходившие там лечение раненые, начали прогуливаться во дворе и по улице, заходили на базар – на костылях, перебинтованные, в солдатском белье.

В мае проездом на фронт из госпиталя к нам заехал отец – всё тот же, как и раньше, сильный и весёлый. Он был артиллерист, капитан, командир батареи – в отличной новенькой форме. Из вещевого мешка он извлёк хлеб, консервы, сахар, печенье, водку. С ним был това-

рищ – лейтенант медицинской службы, фельдшер – довольно уже немолодой, кряжистый, с красным лицом и мясистым носом, напоминавшим некий овощ.

Вечером получился маленький праздник, все были веселы, смеялись, много говорили, шутили. Отец потискал, потрепал нас с Жанной, спросил, слушаемся ли мы мать.

Пришла наша землячка, поговорить, спросить, как там, на фронте – она беспокоилась о брате. Потом сидели за столом, выпивали, пели любимые песни. Иван Иванович был в отсуствии.

Среди разговоров и шуток, между песен, возникали минуты задумчивости за всё пережитое и переживаемое, которое было у каждого, за то, что ещё впереди. Жанна сидела у отца на коленях, прислонясь к нему, он обнимал её сильной рукой, прижимал к себе.

Окна были плотно занавешены. Керосиновая коптилка кидала по стенам колеблющиеся тени.

Я вышел на крыльцо. Тёплый вечер опустился на город. В воздухе носился острый запах только что раскрывшихся тополей. Небо над головой было уже темно, но запад ещё сиял золотом заката. Неожиданно, прочерчивая чёрный след на светлом фоне зари, возник самолёт. Он шёл, полого снижаясь, оставляя за собой шлейф чёрного дыма, из-под крыла выбивалось пламя. Над городом и в городе стояла настороженная тишина. Не было слышно ни выстрелов, ни взрывов, ни каких-либо других звуков. Самолёт пролетел и скрылся, словно призрак, а из комнат звучало: «Прощай, любимый город...»

Образы пережитого, того, что уже прошло и что ещё будет, наполняли душу смутным предчувствием, вызывая тревогу и грусть.

Утром все были уже серьёзны. Отец и лейтенант быстро собирались. На прощанье отец обнял всех нас. Мать плакала. Кузьмич, как звал отец фельдшера, ждал в сторонке. Это была последняя наша встреча с отцом, последнее свидание – в конце августа он погиб.

Вскоре мы перебрались жить в казённый дом, стоявший у городской окраины, вместе с тем недалеко от станции. Дом был одноэтажный, но с большими комнатами, – их было три или четыре. Были большие окна и высокие потолки. В одной из комнат нам был предоставлен угол. Другие углы занимали такие же беженцы и один из них – наши земляки. У дома был ещё и широкий двор с огородом.

Началась уже немножко другая жизнь. Занятия в школе закончились. Появились новые друзья.

В отдалённом углу двора, за картофельным огородом, был вырыт окопчик такой глубины, что в нём мог сидеть взрослый человек. Сверху он имел перекрытие, слегка присыпанное землёй, в длину был метра три. Это был как бы наш штаб. Здесь мы собирались, обсуждали свои дела, о чём-то говорили и здесь соорудили настоящую печку – плиту. Притащили от каких-то развалин кирпичей, нашли чугунную покрывку с двумя конфорками, колосники, дверку. Лидером нашим был Коривка – не по замашкам заводилы и главаря, а по действительному авторитету, как больше знающий, бывалый, к тому же рассудительный, справедливый, смелый, всегда готовый прийти на выручку. У него не было ни отца, ни матери, он жил с дедом и, конечно, носил галифе и пилотку. Он же и построил нашу печку, которая получилась со всеми необходимыми свойствами – имела хорошую тягу, и мы постоянно её топили, конечно, не для того, чтобы греться или что-то готовить, просто это была наша игра.

Рядом с окопчиком проходила граница нашего двора. По другую сторону невысокого забора были чужие огород и сад. Оттуда к нам протягивались вишни, которые уже созрели и очень соблазняли нас. Мы беспокоили хозяйку усадьбы и вишен, потому что не могли не лакомиться ими. Бедная старуха не знала, как с нами справиться, гоняя нас с ругательствами, кидалась камнями, комьями земли. Сад у неё был устроен так, что вишни росли вдоль забора и с двух сторон дома. Потому, когда она караулила нас в одном конце, мы делали набег с другой стороны. Часто она прибегала к хитрости: ложилась в картофельной борозде, предварительно

приготовив запас камней, терпеливо ждала, когда мы начнём разбойничать, готовая атаковать нас. Бедняга не догадывалась, что мы прекрасно видим выглядывавший из ботвы толстый зад в цветастом платье и спокойно отправляемся грабить её в другой конец сада.

Однажды кто-то предложил испечь на нашей плите пирог с вишнями. Генка, самый зажиточный в нашем обществе, принёс, то есть украл у матери, пшеничной муки. Кто-то притащил сковороду, кто-то кастрюлю, каких-то жиров. Не помню, что принёс я – может быть, соли, другого я ничего не имел. Вишни были под боком, задачи не было, чтобы добыть их в нужном количестве. Замесили тесто, слепили блин размером в сковороду, сделали в нём углубление, положив туда наворованные вишни, и так его испекли на нашей плите. Мы предвкушали отведать настоящего лакомства, однако тесто, приготовленное неумело, без употребления дрожжей, выпеклось твёрдым, невкусным. Но всё равно мы ели свой пирог с немалым удовольствием.

От станции то и дело раздавались гудки воздушной тревоги, однако пролетающие самолёты не бомбили. Самолёт кружил, видимо, совершая разведку, зенитки поднимали яростную стрельбу, но всегда это было мимо. Зенитчики были исключительно молодые девушки.

Иногда тревога оказывалась ложной. А однажды она прозвучала в полдень. Город и станция мгновенно опустели. Взявшись за руки, мы с Жанной понеслись к матери на работу. Кругом уже не было ни души. Мы мчались по переходному мосту туда, где в случае бомбёжки было бы самое опасное место, и думали только о том, чтобы в страшную минуту быть с матерью. Кто может защитить нас при крайних обстоятельствах? Мать – только она.

Контора находилась в самом центре станции, в нескольких шагах от путей, на которых стояли воинские эшелоны. Здесь все оставались на своих местах, спокойно работали. Нас с Жанной уже знали, нам улыбались, говорили что-то доброе. Мы ещё не могли отдышаться. Мать журила нас за неразумный поступок.

В другой раз тревога прозвучала, когда я мылся в бане, которая также находилась возле путей, но и тогда обошлось без бомбёжки, и помывшики не торопились спокойно помыться, одеться... А было ещё: тревога зазвучала, тоже среди дня, в то время, когда над городом пролетал на большой высоте самолёт. Тревога, однако, была не воздушная, а пожарная, в чём мало кто разбирался. Загорелась мельница – большое деревянное сараеобразное сооружение старой постройки, горела страшно и яростно. Столпившийся народ уже не обращал внимания на пролетающий самолёт. Но вот однажды ночью я услышал над собой встревоженный голос матери:

– Вставай, скорей одевайся! – трясла она меня за плечо.

От станции неслись лихорадочно-тревожные гудки. В небе, видимо высоко, слышался ворчливо злой рокот самолётов. Через окно, глядевшее в сторону станции, было видно, как над ней медленно опускались осветительные бомбы. Они горели малиновым, ослепительным до белизны светом.

В комнате все торопились одеться. Мать одевала сонную Жанну. В семье наших земляков ночевал её глава – железнодорожник.

– Вешает фонари – значит, будет бомбить, – как бы смакуя этот факт, выразительно, с расстановкой прокомментировал он происходившее за окном.

Внезапно всё вокруг загрохотало, затряслась земля – бешеную стрельбу открыли зенитки. Гудки на станции сразу умолкли.

Выскочив из дома, мы бросились к нашему окопчику – искать другое убежище было поздно. Я оказался первым, после меня втиснулась женщина с ребёнком, потом мать с Жанной, потом ещё человека три. Через широкую щель в перекрытии окопа я видел, как медленно опускались зловещие фонари, освещая город и станцию кроваво-призрачным светом. Зенитки продолжали стрелять, снаряды рвались высоко. Оттуда шёл монотонный рокот моторов.

После первой же бомбы, которые начали падать одна за другой, зенитки умолкли. Между разрывами возникала секундная тишина. Тогда казалось, что там, высоко, кто-то жестокий

и страшный железной рукой раз за разом открывал некий люк, из которого с нарастающим воем к земле летела сама смерть. Ощущение было, что каждая бомба нацелена прямо на нас. Станция запылала сразу и вся – так сильно, будто горело само небо. После стало известно, что первым вспыхнул эшелон с прессованным сеном для лошадей.

В окопчике кто-то изредка ронял слово, а какой-то мужчина, хотя места в укрытии было достаточно, сидя снаружи, спокойным тоном, будто речь шла о чём-то самом обыкновенном, передавал свои наблюдения происходящего. Женщина возле меня успокаивала ребёнка, который всё всхлипывал: «Мамочка, мамочка...» Под меня потекла тёплая жидкость...

Новый день начинался тяжёлым рассветом. Не было солнца, небо заволокло неподвижными тучами. Две или три бомбы упали у самого нашего дома. Взрывом вырвало вместе с болтами ставни, которыми были закрыты глядевшие на улицу окна, выбило стёкла. В комнату залетели осколки, пропали какие-то вещи, с ними и моя путёвка в лагерь. Мать запретила мне уходить со двора, но я не мог, я должен был увидеть, что произошло.

Улицы были пусты. Вид их под насупившимся небом вызывал гнетущее чувство. Там и сям зияли огромные воронки. Возле одной из них, рядом с домом, который разворотила бомба, на чём-то вроде топчана лежало неподвижное тело, накрытое чёрным покрывалом, рядом не было никого.

Более всего пострадала станция. Сгорел вокзал. Взрывами сбросило и закрутило рельсы. От эшелонов остались остовы сгоревших вагонов. Бомба попала в вагон с хамсой, и её разбросало по путям. Сгорела и школа, рухнул забор, окружавший её, обгорели прекрасные тополя.

К полудню из города потянулась вереница людей, покидавших его, – старики, женщины, дети, – с узлами, чемоданами на тележках или велосипедах, или которые несли на себе. Друг за другом, нескончаемой вереницей, вызывая тягостное чувство, шли они весь день.

После бомбёжки ходили рассказы про разные случаи: о попадании в убежище, где было двадцать или тридцать человек, о чём-то чудесном спасении. Погибло будто бы несколько сотен мирных граждан. Говорили, что один самолёт всё-таки сбили. У себя во дворе и в комнате мы нашли много осколков, колючих и острых.

Налёты стали повторяться еженощно. Теперь мы спали, не раздеваясь. Как только звучал сигнал тревоги, мы вместе с нашими соседями бежали к лесу, до которого было не больше километра. Мать и я держали Жанну за руки. Самолёт летел над самой головой, пулемёт чеканил смертельное та-та-та-та..., и было отчётливо слышно, как совсем рядом, у самого уха, со свистом проносятся хищные крылья.

Опушкой леса вслед за другими мы заходили на край пшеничного поля и оттуда смотрели в сторону станции и города. Здесь, среди колосьев, было покойно, тихо. Ночи были тёплые. Сидя на земле под звёздным небом, люди тихонько переговаривались. Самолёты кружили, вешали фонари, стреляли из пулемётов, но не бомбили.

Хотя путёвка моя пропала, меня приняли в лагерь.

В каком-то доме с высоким крыльцом все прошли упрощённый врачебный осмотр. Потом всё ограничилось тем, что нас просто кормили, иногда водили на прогулку, в лес. Каких-либо занятий с нами не помню, для этого не было ни помещений, ни условий.

После бомбёжки у нас завелась забава. Почему-то обширный луг рядом с нашей сажалкой оказался усеян зажигалками, многие из которых, вонзившись в землю, остались совершенно целы, некоторые обгорели частично.

В сажалке я нашёл целую осветительную бомбу. Упакованная в плотную обёрточную бумагу, от удара о грунт снизу она примялась, но часовой механизм с воспламенителем был цел и сиял новенькой латунью. Тоже в сажалке ребята нашли ещё пару частично сгоревших, обугленных фонарей.

Всё это богатство мы притащили к нашему окопу и стали устраивать потеху. Кусок зажигалки или осветительной бомбы помещали на лопате в нашу плиту, там он начинал разжи-

жаться и гореть. После этого расплав подбрасывали лопатой, потом ударяли ею, и он разлетался ослепительными брызгами – белыми или малиновыми, создавая зрелищный фейерверк. Однажды горящая капля упала на голову Михелю, после чего на этом месте у него образовалось пятно величиной в пятнадцать копеек, на котором уже не росли волосы. Я хотел вынуть из своего красивого часового механизма воспламенитель, но не сумел и кому-то потом отдал.

Время для мальчишек было весёлое. В народе уже не было панического возбуждения сорок первого года. А вскоре началось большое наступление нашей армии, после чего налёты прекратились. Война покатилась на запад. Жизнь, конечно, была ещё скудна, но дни постоянной тревоги отступили.

Вместе со взрослыми мы ходили на разборку развалин, оставшихся после бомбёжек. Работали киркой. Мелкие осколки кирпичей собирали в кучи, цельные кирпичи и крупные их куски складывали отдельно.

Но лучшее время проводили у сажалки – купались, валялись на траве, играли. Сажалка была небольшое озерцо, поросшее по берегам осокой и камышами. Глубина была, наверное, метр, вода чистая, дно песчаное. Отсюда начинался и тот большой луг, который почему-то оказался усеян зажигалками. Здесь мы говорили о войне, обсуждали последний кинофильм, рассказывали что-нибудь из того, что интересно мальчишкам. Любимым развлечением была игра в ножичек. Проигравшему забивали в землю колышек, который он должен был вытащить зубами без помощи рук.

Наступал вечер. От станции доносились звуки репродуктора. Было славно лежать на траве, что-то думать, слушая долетавшие слова про мирную жизнь, про чью-то встречу после больших испытаний и долгой разлуки...

Самым авторитетным в нашей компании был Вовка по прозвищу Коривка, то есть Коровка. Дома у него были какие-то дела, обязанности, он иногда куда-то отлучался. Михель, то есть Миша, Мишка, жил в своём доме рядом с нашим, был добрый товарищ, без дурных наклонностей, круглолицый, черноглазый, немного моложе нас. Изредка к нам приходила Нила, его сестра, – посидеть на лавочке возле нашего окопа, посмотреть, чем мы занимаемся. Дружил с нами и Генка – Генерал. Он жил подальше, был из зажиточной семьи и принимался у нас как куркуль. При доме у него было целое поле пшеницы. Иногда он приходил с пшеничной плюшкой, от которой отщипывал нам по кусочку. Заглядывал Витька, который жил тоже в нашем доме с матерью, меньшими братом и сестрёнкой. Был он постарше, до войны жил в Сталинграде. Их семья находилась там всё время боёв. Он был взрослее, держался особняком, наше общество ему не подходило.

Каждый день происходили какие-то события. В клубе мы смотрели фильмы о войне, посмотрели знаменитый в то время фильм «Джордж из Динки-джаза», от которого все были в полном восторге, который потом долго обсуждали, смакуя комические моменты. А однажды на луг опустился «кукурузник», и все мальчишки, которые видели это, помчались посмотреть самолёт, лётчиков. От лагеря, который я посещал, почти не осталось воспоминаний, кроме, пожалуй, случая, когда нас привели в лесу к настоящему довоенному лагерю, пребывавшему в заброшенности с начала войны.

С мальчишками происходили разные истории. Один такой сделал самопал из винтовочного патрона и когда, прицелившись, выстрелил, капсюль вылетел из патрона и выбил ему глаз. Другой, когда все мы вышли к железной дороге после окончания сеанса в клубе, подкатывался на подножке маневрировавшего товарняка и при соскакивании, споткнувшись, угодил ногой под колесо. Ему раздробило кость ниже колена, но не отрезало ногу. Красный от боли и натужного крика, он прыгал на одной ноге, в то время когда часть другой ноги болталась, как тряпка, а сквозь кожу выступала кровь.

У каждого из нас были обязанности дома, в семье. На моём попечении оставалась Жанна. Большую часть времени она проводила во дворе с детьми её возраста, но иногда я брал её с

собой, и мы уходили в лес, гуляли на лугу. Она была хорошенькая, любимица отца – светло-волосая, голубоглазая, с косичками, с забавными девчоночьими манерами, немножко кокетка. Во время прогулок спрашивала что-нибудь, собирала цветы, пыталась ловить бабочек, кузнечиков. А ещё мы искали землянику. На этих прогулках с нами была и Нила. Жанна тянулась к ней, Ниле нравилось быть для неё как бы старшей сестрой.

Две женщины, соседки, собрались по грибы, взяли с собой Нилу и Михеля. Нила позвала и меня.

Лес был не такой, когда мы ходили на картофельное поле. Было больше берёз, были и сосны, изредка между ними ёлки. Землю местами устилали пышные мхи и какой-то особенно густой и упругий вереск. Иногда местность переходила в пологий склон, или на пути оказывался холм, сплошь поросший вереском, с берёзами, заходившими на его вершину. Грибов было мало, у меня в корзинке всего с десяток лисичек, пара подберёзовиков. Постепенно мы отстали от наших женщин, но Нила и Михель знали дорогу. Заглядывая в мою корзинку, видя, как мало у меня грибов, Нила подкладывала мне то один, то другой гриб. Даже у Михеля было больше.

В полдень мы остановились возле реки, устроив обед из тех припасов, что взяли с собой. У меня был только хлеб, у Нилы с Михелем нарезанное ломтиками сало, большая бутылка молока, огурцы, яблоки – белый налив. Я стеснялся есть то, что не принадлежало мне. Но Нила сказала, если мы дружим, я не должен отказываться.

Да, мы дружили. Она ведь была добрая и красивая...

Молоко пили из бутылки по очереди – сначала Михель, потом она передала бутылку мне. Я сделал два глотка.

– Пей ещё, пей, – настаивала она.

Я давно не пил молока, оно было очень вкусно.

Потом мы сидели в траве. Михель пошёл бродить по склону. С холма открывались чудесные виды, и мы смотрели, как через мост проходил воинский эшелон. Горячий ветер, набегая, ласкался, о чём-то шептал. Мы оставались одни...

Вечером мы приходили к сажалке. Там в это время не было никого. Молчали камыши и травы. Низкое солнце отражалось яркими вспышками в чуть колеблющейся воде. Небо светилось тонкой лазурью.

Жанна прыгала возле нас. От станции опять долетало про встречу и, значит, о разлуке... Странные переживания овладевали душой... Когда это было? Или ещё только будет? Ведь жизнь только начиналась... Может быть, когда-нибудь это мы будем смотреть, как горит на солнце река, слушать, как лепечут деревья... И может об этом сияло вечернее небо и были те, долетавшие к нам слова...

Заканчивался июль. Война уходила на запад. Железнодорожник, земляк, изредка наезжавший с узловой станции, где он работал, к своей семье, прислал две машины – ЗИС и полуторку. Город наш был освобождён. Мы уезжали.

Провожали нас: Коривка, Михель, Генка, другие ребята. Нила стояла чуть в сторонке. Машины тронулись. Все стали махать рукой. Махала и Нила. Я всё смотрел, и вот они скрылись за поворотом...

Последним вечером мы снова пришли к сажалке, теперь уже последний раз. Жанна опять искала что-то возле нас, подбирала с земли, кидала в воду, пыталась ловить стрекозу.

Вынув из кармана камешки для игры, которой тогда увлекались девчонки, Нила перебирала их в руках. Солнце сияло в чёрных волосах, слепило глаза. Раскладывая камешки перед собой, подбрасывала их, ловила, снова собирала. Подняв глаза, смотрела куда-то, думала – о чём?...

– Все уезжают, – вздохнула она, – а мы остаёмся...

«Ты знаешь край, где всё обильем дышит?..» Так сказал поэт об этой стороне. Какие там солнце и небо! Сады и поля! Реки, ручьи! В смешанных лесах вереск, пышные мхи. Красив их сочный, золотисто-зелёный цвет. По ним пестреют мелкие звёздочки белых цветков, золото лютиков, колокольчики, ромашки, кукушкины слёзы. Среди них растут старая берёза и стройная сосна. В них тонешь, словно на мягкой постели... Туда устремляется память...

Да, мы уезжали... Долгие дни я думал о доме, который пришлось покинуть в сорок первом году, о той, довоенной, жизни, о тех, кого оставил там. Я видел их в снах. И вот приблизился день, которого я так долго ждал...

Всё ниже опускалось солнце. Лучи ослепляли вспышками на тихой воде. От станции опять доносилось про вечер, про обрыв к реке... Глаза блестели в низких лучах...

Пройдут многие годы... Здесь будет такой же вечер, будут солнце и тишина... И кто-нибудь вспомнит те слова... Они и сейчас всё ещё звучат там. Но кто услышит их теперь – может быть, всё так же в солнечной и, однако, уже совсем другой тишине?... И почему то, что было когда-то, не отпускает, зовёт и кажется лучше, дороже того, что сейчас и что будет потом?..

Страница памяти

Среди беззаботно шумливых школяров она выделялась грустным спокойствием выражения лица, поступков, своей отдельностью, будто знала, чего не знали другие, отчего весёлость эта вызывала в ней грусть.

Был сорок четвёртый год. Война гремела уже далеко.

Занятия в школе шли обычным порядком. На переменах она звенела ребячьими головами. Младшие школьники гонялись друг за другом, носились по саду. Те, что постарше, прогуливались проложенными дорожками, сидели на скамьях.

Бледная матовость лица, тёплый и всё-таки грустный взгляд карих глаз, голос, звучавший кроткой печалью, невольным и неодолимым влечением притягивали к ней. Видеть и слышать её, хотя бы мимолётно, пусть даже издалека, было единственно возможным для меня. Я был всего лишь пятиклассник, она училась в седьмом, хотя внешне разницы между нами не было заметно. Хрупкое очарование облика и душевного строя вызывали болезненную мечту об её незащищённости, смутное побуждение уберечь, защитить, но как, от чего?..

Пережитое в недавнем сострадание к судьбам андерсеновских принцесс неожиданным изломом проявилось в подлинной жизни. Подобно беззащитной в грустной своей судьбе Дюймовочке, одним своим существованием обнажавшей правду жестоких и грубых отношений, она вызывала желание сделать, совершить ради неё... Но что?.. Подвиг?.. Возможно. И может быть даже умереть. И наверное, из этого происходило неосознанное постижение того, что, казалось общим и близким, которое, преодолевая непреодолимое, соединяет на все времена.

Учился я плохо – из рук вон. Потрясая моим дневником при жалких моих попытках оправдаться, отчим преображался в лицедея, патетически возглашая своё излюбленное:

– Ах, какое огорченье – вместо хлеба да печенье!

Подавляюще величественный, в одной руке он держал дневник, другой указывал на этот достойный презрения документ, склонив по всегдашней привычке голову к левому плечу, так что свисала тяжкая грива песочных волос. Произнося свою речь с пафосом и ядовитой иронией, он устраивал настоящий театр, в котором зрителями были мать и Маришка, я – бездарный исполнитель той роли, которую мне определила судьба, а он – непогрешимый судия, громовержец, бог.

Бедная мать страдала больше, чем я, получавший серию болезненных ударов узким ремнём, постоянно висевшим на двери, как напоминание о том, что ответственная и нелёгкая обязанность воспитателя будет исполнена неукоснительно и при любых обстоятельствах. Так он довлел над матерью, «с любовью» внушая ей необходимость строгих мер против лени, безделья, разгильдяйства.

Притом, что на служебной лестнице он занимал лишь скромное положение прораба, представление его о собственной персоне никак не увязывалось с действительностью, в которой он вынужден был существовать. Всё же, сказать по-справедливости, на службе он был безупречно честен, никогда не попользовался ничем сверх положенного, хотя, наверное, имел такую возможность. Занимая более высокий пост в прошлом, пострадав за свою честность, как он говорил, был понижен в должности и направлен на работу в этот скучный городишко, где у нас не было ни родственников, ни друзей, ни знакомых. Сознание собственной безгреховности раздувало его гордыню, и уж где-где, но в семье он жаждал получить полное удовлетворение своему честолюбию, поучая, указывая, требуя выполнения установленных им правил, нарушение которых приравнивалось к преступлению. С первой женой он развёлся, платил алименты, потому достатки наши были весьма скромны. Тем не менее он требовал к себе исключительного внимания, особенно в гастрономической части: еда должна быть свежей, только

что приготовленной, предельно вкусной, и большая часть имевшегося ресурса отдавалась ему. Он принимал это как должное.

Почему мать наша, красивая и добрая, вышла замуж за этого человека? И всего только через три года после того, как в самом начале войны погиб наш отец? Что нашла она в нём, жестоком, самовлюблённом? И когда я видел огромный живот её, понимая, что это значит, во мне поднималась волна чёрных чувств к ней. Чем больше она сопереживала мне, чем больше, кроткая и ласковая, старалась что-то сделать для меня, в то же время оставаясь в полном подчинении его воле, в согласии с его педагогическими идеями, тем более несомненно для меня было видеть себя чужим и ненужным. Маришка, которой было только шесть лет, не могла понимать того, что происходило в нашей семье. К тому же к ней он относился совсем по-другому – был добр, внимателен, даже баловал.

В школьном саду я сидел на скамейке, рядом сели она и подруга.

Был день бабьего лета, большая перемена. С безоблачного неба к земле протягивались уже не обжигавшие лучи. Во дворе и в саду носились, поднимая шум, высыпавшие из классов ученики.

Девушки говорили о своём. Слова с их смыслом скользили мимо меня. Я внимал лишь звукам, которыми, как в музыке, открывалось, что в мире есть настоящая красота, и то печальное, хрупкое в ней, что так легко погубить, вызывало желание уберечь, защитить, с самого начала предназначенное, однако, остаться неразрешённым, не получившим исхода.

Кажется, ни о чём и ни о ком другом я уже не думал, а то, что было о ней, не отпуская ни днём, ни ночью – ни на минуту, никогда.

Городок только что вышел из оккупации. Всюду проступали следы прокатившейся через него войны, была общая бедность, жили по карточкам. Школа нуждалась в ремонте, окна наполовину были заколочены фанерой, не было электричества. В ноябре последний урок второй смены проходил в полной темноте, пользуясь которой ученики не упускали случая подурчиться, пошалить, пока учитель не видит их. Зимой стало так холодно, что в классах сидели в верхней одежде. Но всё равно школа жила кипучей жизнью. На переменах она бурлила и шумела. Младшие школьники носились по классам и коридорам, бегали во дворе.

Происходили и разные события. С передвижной установки показали фильм «Дети капитана Гранта». Конечно, все видели его раньше. Но это совсем другое – когда показали в школе, бесплатно, и все устроились в зале, совсем по-домашнему – кто на скамейках, а кто и на полу.

А однажды ученика первого класса награждали медалью «За боевые заслуги». Флегматичный, упитанный герой этот был сыном полковника, который возил его с собой на войне. Случилось, что немцы захватили наши позиции, и мальчик оказался на территории, занятой врагом. Тогда контратакой своих солдат полковник заставил противника отступить. И так новоявленный герой был освобождён, проведя несколько часов в плену.

Ради торжественного случая школу построили в зале. Мальчика ввиду его небольшого роста поставили перед строем на табуретку, и какие-то военные прикрепили ему на груди эту медаль, присовокупив подходящие случаю слова.

Две девчонки из пятого «б» как-то странно и постоянно возникали передо мной – дразнились, хохотали, кривлялись. В то время школьникам на большой перемене давали по кусочку чёрного хлеба и две ложечки сахарного песка к чаю. И бывало, приготовившись выпить свой чай, на минутку отойдя за хлебом, вернувшись, я находил в своём стакане тряпку, которой с доски стирали мел. Тут же две проказницы, следившие за мной, с хохотом убегали. Но мне они были неинтересны.

Девятого и десятого классов в школе не было, но был восьмой класс, при этом какой-то странный и совсем особенный. Эти восьмиклассники были вполне взрослыми людьми, держались обособленно, солидно – группами или парочками. Было странно видеть таких «тётей» и «дядей» среди прочего школьного народа. Даже семиклассники заметно отличались от них.

Двое привлекали особое внимание: блондинка Зина с ярким румянцем, какой бывает у детей, объевшихся сладостей, и Сева, представительный молодой человек в хорошем костюме. Между ними были странные отношения, и что-то не ладилось. Они всё время искали уединения, чаще всего за большой классной доской, поставленной в углу общего зала, всё объяснялись, но положительного разрешения не получалось. Из-за доски были видны их ноги, нижняя часть фигуры. Всю большую перемену они простаивали там друг перед другом. После долгих и трудных объяснений Сева имел вид обескураженный, у Зины были заплаканные глаза. Так повторялось изо дня в день.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.